

18+

# ВЕНЕЦИАНСКАЯ ВЕЧЕРНЯ

Михаил Пантаев

Михаил Пантаев

**Венецианская вечерня**

«Издательские решения»

**Пантаев М.**

Венецианская вечерня / М. Пантаев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-516291-5

Стыдно писать книги — ведь уже написано обо всем. Не можешь удержаться? Можешь. Но есть вещь, которую удерживать не нужно. Благодарность... Напоказ? И не стыдно? Стыдно. Но смиришься с этим, если хочешь писать. Хочешь? Зачем? Чтобы преодолеть стыд. Странно? Но каждый, кто бывал в Венеции, отмечал эту странность: желание писать о городе. Данное путешествие не преследует ученых целей: это рассказ о том, как наш соотечественник узнавал в лагунном городе многое из того, что было скрыто от него прежде...

ISBN 978-5-00-516291-5

© Пантаев М.

© Издательские решения

# Содержание

I	6
II	9
III	33
Конец ознакомительного фрагмента.	37

# Венецианская вечерня

## Михаил Пантаев

Ольга Демидова *Иллюстратор*

Мария Яковлева *Корректор*

© Михаил Пантаев, 2021

© Ольга Демидова, иллюстрации, 2021

ISBN 978-5-0051-6291-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## I

Несколько лет назад мой друг Леонид отправился в тишину зимней Венеции подлечить истомленные нервы и успокоить пылающий мозг. Он хотел побродить по ее улочкам и посидеть в ее церквях, но накануне отъезда узнал, что должен угодить в суету карнавала. У него в памяти это событие почему-то связывалось с концом февраля, а никак не с началом; что определяет сроки, он не задумывался. Разочарование? Неудача всего замысла? Или в церквях тишина сохранится и в суматошные дни, а мест, куда не докатится празднество, тоже хватает? Как бы там ни было, до открытия почти неделя, и надо спокойно оглядеться. К этому дню Леонид пришел, потеряв и истратив многое, – кроме того, что приобрел недавно: инстанции, принявшей его таким банкротом, каким он был – или считал себя. И если б мог, заходил бы в каждый храм, благодаря за то, что он снова здесь. Не такой ли будет вся поездка? Но и другая ее сторона проявилась тотчас – тоской по жене и детям, оставленным дома.

Устроившись в гостинице, Леонид вышел на улицу, спеша окунуться в любимую атмосферу. Особой суеты вокруг не наблюдалось – как всегда в это время, когда туристов почти нет. Но странно: ни следа невероятно густого тумана, который совершенно скрыл Венецию при посадке самолета – час-два назад... Сколько он ни всматривался, прильнув к иллюминатору, разглядеть ничего не мог, пока колеса не ударились о землю. Выбравшись из аэропорта и достигнув морского причала, он подумал, что туман не помешает, а, пожалуй, даже поможет его намерениям, но не будет ли ему сопутствовать еще и «высокая вода» или иные погодные сюрпризы? Кораблик отправлялся через четверть часа, и Леонид одиноко посидел на пристани, в молоке, затопившем все. Вдруг мутная мгла выплонула чету без чемоданов; оказалось – соотечественники, спланировавшие в Венецию из альпийского курорта. Леонид сразу расположился к этим людям в лыжных костюмах, вспомнил собственный первый приезд, охотно рассказывал о городе и окрестностях, которыми они плыли. И незаметно, в свободной беседе туман исчез... Теперь Леонид удивленно оглядывался: а был он? О нем напоминают лишь тонкие белые нити, невесомо скользящие в вышине. Нестрашно приезжать сюда в туман, даже впервые; он словно предупреждает: оставьте торопливость, надежду увидеть все сразу. Здесь каждое дело требует терпения. *Alilaguna*

Первым долгом он поинтересовался порядком вечерних богослужений – чтобы начать с этого. Ближайшая церковь Санти-Апостоли была закрыта, как большинство церквей среди дня; доступны в основном те, что работают и как музеи. Осторожно переступив порог Санта-Мария Формоза, он остановился перед отделенной шнурком капеллой с надписью «solo per pregare», но, не зная, имеет ли право прямо пройти туда, и не желая объясняться со служителем-контролером, будка которого светилась в глубине – у главного, видимо, входа, – повернул обратно. К счастью, у Санти-Джованни-э-Паоло он снова обрел способность различения и приметил вполне конкретное огаіо: из него следовало, что по будням мессу служат в шесть тридцать – как и в родных широтах. Удовлетворившись, Леонид отправился на Сан-Марко.

Прежде это казалось ему почти недостижимым – отнестись всерьез к патриарху и культурно-историческому хранилищу, по которому обычно течет вереница туристов выделенными, огороженными тропинками. Но в этот январский вечер посетителей было немного. И выяснилось, что и в Сан-Марко есть уголок для молитвы – слева от алтарной части.

Молитва в таком месте? Но что в ней особенного? Какая разница, где возносить сердца? Да, только не везде это удастся. Но если в тебе еще не угасли молодые восторги от храма, вобравшего в себя все лучшее с Востока и Запада, и ты помнишь, как стоял, прислонившись к колонне, у , когда собор впервые возник перед тобой, – так же, на закате, укрывшем его точно ризой, – то молитва твоя легка и благодарна, и ты счастлив: уста площади улыбнулись тебе и заговорили с тобой. А что слез не удержишь никаким усилием, это ничего. *Vocca di Piazza*

Есть мудрость в том, что внутреннее пространство храма почти полностью перекрыто веревками и погружено во тьму. Зачем так уж пристально рассматривать почтенного свидетеля истории? Фигуры Христа и апостолов чернеют в золотистой полумгле. Всё очень торжественно и величаво, но и это исчезнет когда-нибудь, говорит полумгла; когда придет последний час. Поэтому не к прекрасным и грустным творениям рук человеческих устремляешься, а к тому, что вечно, стремлением к чему созданы мозаики и полы.

К началу мессы в Санти-Джованни-э-Паоло Леонид едва поспел. Храм, казалось, спал, касса закрыта. Будет ли служба? Пока он раздумывал, мимо в призывную темноту, скрывавшую могучий интерьер и готические надгробья, промчалась пожилая синьора с покорно-молчаливым ребенком. Леонид двинулся следом. А женщина уже входила в дальнюю левую капеллу, где горел свет и слышались голоса. Там и будет служба? Когда Леонид проделал полпути, знакомая донна снова пронеслась мимо него: теперь – в правую капеллу в средней части храма; за ней шли два священника. Он машинально повернул туда же. Здесь тоже было светло, и по обеим сторонам сидело несколько женщин. Едва Леонид, встретившись глазами с Мадонной в белой короне, успел опуститься на лавку в ногах какого-то святого, идущего по водам серебряной реки, как появились священники (нет: священник и министр) и месса началась.

Отрывок из Послания к евреям прочла бойкая молодая девушка, она же приятным голосом пропела псалом; Евангелие читал высокий черноволосый священник. Хорошо было, проехав 2000 верст, в первой же церкви застать тот же богослужебный чин, что и дома.

Что было хорошо? Сходство с посещением любимого кафе, к которому привык в прошлые приезды? Или любимой площади, канала, библиотеки? Хорошо было объединиться с людьми, и не просто перекинуться с ними улыбками или хилыми фразами, но возвысить силу своего голоса, чтобы на их языке вознести благодарение, вместе с ними воззвать о хлебе насущном. Леонид посчитал это удачным началом своего нынешнего пребывания здесь; не залогом успеха, а, скорее, просьбой о помощи, которую слышали. Помощи в чем? У него были установки, планы? Трудно сказать, на что он полагался, не зная ни в одной букве, какими они будут, эти несколько дней паломничества. Может быть, отсюда удастся бросить некий внешний взгляд: как на себя самого, так и на тех, кто тебе дорог?..

Когда Леонид вернулся в гостиницу, колокола у св. Апостолов пробили девять. Больше никуда не пойду, решил он. Замкнусь в комнате; мне есть о чем поразмыслить в этот зимний вечер... Таможенники на пересадочном пункте – в либеральном Амстердаме – спросили его: «Why?» – почему он едет в Венецию в канун своего пятидесятого дня рождения? И даже если бы он сносно владел языком, было неясно, как это объяснить, чтобы они поняли. Ведь и знакомые удивлялись: «Юбилей... вдали от родины?..» А что, если здесь она и находится, родина его души?.. Леонид не знал, как расценить вопрос чиновников: как равнодушную бесцеремонность или глупость? Вот если бы он обрядился в костюм Арлекина или приделал себе ослиные уши и, блаженно мыча, носком висел на руках у друзей, все было бы понятно как должно. Своей поездкой он, казалось, обнаружил нечто, не предназначенное для посторонних, признался в какой-то чуть не постыдной слабости. Но избежать признания значило бы отказаться от чего-то слишком важного...

Итак, в Москве полночь. Начинается день, в который каждый имеет право ублажать себя. Но за что? За то, что доставляешь радость другим? Когда поздравляют старшие, видишь в их глазах радостное удивление: надо же, и этот мальчишка тоже старый. Когда молодые – удовлетворение: у нас-то еще все впереди... Поздравляют? Спасибо. Но раздувать дальше: собирать тех, кто считает своим долгом к тебе прийти или вправду хочет – зачем? Довольно электронных восточек. И если стоишь на неважности юбилея, то не акцентируйся на этом и сам, а поблагодари – за жизнь, оказавшуюся длинной и благополучной.

Венеция вошла в него давно, задолго до того, как он побывал в ней, и в повседневных мелочах ему порой просвечивали венецианские мотивы. Но, несмотря на то, что он довольно

часто говорил о Венеции: в школе у себя он даже уголок завел – по слову Анри де Ренье: «Venise chez soi», – говорил он о ней, как правило, с людьми, в ней не бывавшими, стараясь приподнять образ Города Вод над уровнем тех впечатлений (гондолы, голуби, маски), из которых состоит для непосвященных понятие «Венеция». Поэтому тема приобрела оттенок вымысла, сна, за который отвечает он один. Он почти допускал, что венецианская страница его жизни исчерпана, но решил съездить сюда еще раз, чтобы поклониться городу и его церквям, если они хоть в какой-то мере помогли ему разорвать кольцо одиночества. Надо ли это объяснять? Сдержанность внушала ему: опасно делиться с кем-то мыслями, выходящими за рамки естества. Но если они действительно таковы, то умолчать было бы не вполне правильно, ибо это было бы молчанием не о том, что имеет лишь частный характер, а, напротив – по самому происхождению своему предназначено для распространения. И тогда... Он повторил стих псалма, слышанный на мессе: «Я не возбранял устам моим... Правды Твоей не скрывал в сердце моем...» Но... Как распространять? И что: известные слова – или иное? Не попытка ли это поделиться блеском того алмаза, которого у тебя нет?..

## II

Утром – молочным, прохладным, гулким – Леонид простился с белым геральдическим львом, сторожившим гостиницу, и отправился в церковь Сант-Альвизе: так венецианцы, любители поиграть с именами, переименовали святого Людовика (но не короля-крестоносца, а его племянника – епископа Тулузы). Мог ли он не прийти с благодарением туда, где находилась, он считал, старшая сестра той обители, что приняла его в родном городе?.. Наверное, из-за того, что входишь через боковую дверь, а не через главный портал, над которым много веков скромно сидит небесный покровитель церкви, сразу видишь великолепный потолок, изображающий Храм как таковой, с надписью в центре: «*Domus mea domus orationis est*». Против входа – алтарь св. Людовика: нас встречают с ожидаемым выражением евангельской открытости во взоре, никакого лукавства. Глядя на него, понимаешь, что значит «Паси овец Моих»: будь тем прибежищем, где они найдут утешение, когда им грустно, тоскливо, плохо... Слева – Джироламо да Санта-Кроче, художника малоизвестного, но выполнившего свою работу на совесть. Все апостолы обозначены. Иаков Алфеев беседует с Матфеем, Симон слушает, Варфоломей и Иаков Старший, обнявшись, делятся друг с другом мыслями. Иоанн, справа от Христа, лежит на столе – он уже получил ответ на свой вопрос. Петр, слева, весь обращен к Учителю. Иисус протягивает руку в сторону Искарота, который – один из всех – находится по другую сторону стола. Андрей, с вопросом в очах, смотрит прямо на предателя. Трое – Фома, Фаддей и Филипп – спорят. Снизу золотая табличка: «Нет больше той любви...» *Тайная вечеря*

В церкви – никого, кроме укутанной служительницы в будке; поэтому Леонид, хоть и впрямь зябко было, спокойно посидел тут и там, вслушиваясь в новое для себя ощущение. Он совсем недавно стал заходить в церкви, понимая, куда заходит: что это не музей и не филармония. И в библиотеку, и в театр можно приходиться как к себе домой – или на работу. Но, работая, или занимаясь хозяйством, делаешь это ради чего-то; и здесь, в тишине, можно спросить себя: где оно, твое сокровище, а вместе с ним и сердце?

Какой язык подобрал самое родное, естественное слово? *Ecclesia... Chiesa... Eglise... Church... Kirche...* Каждый потрудился на славу... После томительных передраг – десятилетий, прожитых в споре с миром, – церковь кажется каким-то чудом. Стоит в стороне и ждет, что ты заметишь этот ковчег, где обретает покой душа...

Орган сейчас молчит, но ты слышишь его, этот особый инструмент, для которого был избран один композитор – и не венецианский или парижский, где его появление, казалось, уже подготовлено, а продолжатель дела бедных канторов и школьных учителей нищей страны: чтобы сказать на нем все, что должно быть сказано, и никто больше не упражнялся, не пытался развить; призванный указать на величие, неизмеримо превышающее человека, как орган превышает скрипку или клавесин.

Другой алтарь, справа от главного (сейчас закрытого), у которого служит месса – . На белоснежной скатерти – раскрытый Миссал, сосуды для причастия. В исповедальне, над тем местом, где стоит кающийся, – небольшое распятие и поодаль – Мария. Всё здесь живет молитвой – в согласии со второй надписью на потолке, которую замечаешь позже и, выходя, уносишь с собой как напутствие: «*Vigilate et orate*». *Пьета*

В тихом церковном дворике Леонид еще немного посидел, повторяя про себя: «Иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос; и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и иное сто...» Он по-прежнему пытался что-то сделать со своей жизнью, с почвой своего сердца. И в двадцать лет это неизбежно, а в пятьдесят – не стыдно ли? Чехов бы, конечно, посмеялся: он-то уже в молодости наставлял старших братьев и называл это «быть воспитанным». Братьев, но не отца же... Быть? Или становиться?.. В чеховском катехизисе

Леонида когда-то особенно пронзили слова: «Из уважения к чужим ушам воспитанные люди чаще молчат... Они стараются облагородить половой инстинкт» – факультативное изложение заповедей. Можно ли что-то радикально изменить в себе? Или становиться – это и значит быть? «Нужно смело плюнуть и резко рвануть» – из того же трактата. «Нужно воспитывать в себе эстетику»... Выставлять себя на посмешище не хотелось, но и отступать: теперь Леонид чувствовал, что влечет его не только тяга к самосовершенствованию, а нечто иное, стремление к чему-то менее абстрактному. Похоже, ему суждено каждый день повторять: «Да, уехал, но не для того, чтобы скрыться от ближних, а чтобы яснее осознать то, что ведет меня».

Оглядываясь по сторонам, на прихожан своего храма, он в каждом склонен был видеть ходячий кладезь богословской мысли и живую икону. Почувствовав, что едва ли это так... нет, ему не стало спокойнее, и он не захотел смириться со своим невежеством; но и не разочаровался – к счастью. Услышав: «Не праведников, а грешников...» – он с удивлением осознал, что церковь позволяет ему не только не быть святым, но не быть и исчадием ада, глаз не смеющим поднять на солнце, изгоем, единственным назначением которого – трепетать в ожидании суда. Позволяет быть самим собой, но не останавливаться на этом.

Тайна не рассеялась, окружающие явно чем-то обладали – и благодаря этому Леонид не чувствовал себя чужим среди них... Вдали хорошо размышляется о любви. Видят ли ее те, к кому она обращена? Точнее: веришь ли ты, что они видят, или думаешь, что им это не нужно? А может, ее и нет, и им нечего видеть?

Чехов считается (кем?) неверующим. Почему? На основании собственных его признаний – как в том письме, где он вспоминает: «Когда отец заставлял нас с братом петь на клиросе, мы чувствовали себя маленькими рабами... Теперь веры во мне нет»? Но не все согласятся; , – читая эти рассказы, хочешь сказать: мне бы так понимать. Первая добродетель входит в человека незримо, и детские годы, проведенные в церкви, отразились в словах, которые повторяешь в тишине: «Нужно верить в Бога, а если веры нет, то не занимать ее место шумихой, а искать, искать одиноко, наедине со своей совестью...» *Святою ночью Убийство*

Ближайшей к Сант-Альвизе была церковь Мадонна делл'Орто, но в нее Леонид решил не заходить – чтобы перевести дух. Постоял на пустынном поутру кампо (сказочное уединенное место), рассеянно пересчитывая пинакли и апостолов, белые одеяния которых окрашены в цвет неба, подошел к порталу. Справа заметил вделанный в стену медный крест с полустершейся надписью «Cui basia questa croce aquista 5 giorni d'indulgenza».

Наклонившись к реликвии, Леонид задумался о том, что составляло суть этого отпущения – о своем внутреннем к нему отношении. Верил ли он в него? Что происходило, когда священник говорил: «Прощаются тебе грехи твои»?

Грехи... Здесь налицо две крайности: вообще не признавать такого понятия – и ставить греховность во главу угла. С первой – счастливой – позицией все ясно. А вот вторая... Страх согрешить не спасает от греха. Что же спасает? Радость о Боге, может быть? Но эта радость – не индульгенция, делающая искушения невидимыми: ты способен их заметить – что нелегко, особенно в нежном возрасте неофита. Ему прежде всего о радости и хочется кричать; а те, кто ее не знают, отворачиваются: «Что происходит? Ясно же: ты поднимаешься с колен, говоря: „Слава Тебе, Господи“, – и бежишь хулиганить со спокойным сердцем». Пожалуй, можно и так думать; здесь, как и везде: «Не все понимают, но кому дано». И мера разная. Чада праха готовы на что угодно ради своих целей – кроме покаяния. Им палки в колеса не суй... Леонид начинал сознавать, что, получая отпущение, еще больше обязанностей берет на себя: пока он оставался вне церкви, вопрос о грехе, если и возникал, не имел твердого основания и решался обычно к полному своему удовлетворению. Но и твердое основание недолго оставалось таким, неведомое той тростинке, что пыталась на него опереться, срастись с ним.

Индульгенция, инквизиция, иезуиты: три «и», выставленные институтом марксизма-атеизма против римской церкви. Но пусть падение сего института было великое, тема не утратила

злостности – многие бывшие студенты его еще живы... Леонид догадывался, что индульгенциями не всегда торговали, а иезуиты – «использовали любые средства», и мог назвать несколько сочинений, поразивших его не меньше, чем в юности – впервые прочитанные вершины литературы и философии. Поразивших не изображением страстей человеческих – душепопечительством. Но имена авторов «не вертит толпа бурун», как и имена тех отцов, что проводят удивительные «реколлекции в молчании», без которых уже не мыслишь свое бытие. А инквизиция – не жила ли она в нем самом, готовом испепелить ближнего за окурок, брошенный на траву?

Пять дней прощения грехов... В этих словах ему виделось не столько освобождение от епитимьи, сколько приглашение – к духовным упражнениям особого рода: собиранию себя заново в течение пяти дней венецианских, подаренных ему теми, кто его любит. Виделся некий пост, хотя и не слишком строгий гастрономически, но естественный в его положении; и молитвенный настрой был кстати. Добрые дела? В их число с оговоркой включалось посильное приношение в бюджет города: Леонид вспомнил смиренного служителя в Сан-Марко, с внешнестью профессора, ловко выдававшего билетика на «Visita alla Pala d'Oro».

Индульгенция? Нет, не соблазн легкого отпущения привел его в церковь, и обрел он там вовсе не чистую совесть – отныне и навек. «Упорен в нас порок, раскаянье – притворно...» Впрочем (говорит традиция) участники паломничеств – как и крестовых походов – заведомо получают remissionem peccatorum.

Леонид посмотрел на небо – которое еще подремывало, прежде чем начать готовиться к нарядной весне, – и не спеша двинулся дальше. Постепенно Венеция узнавалась – несколько лет не был он здесь... Узкие пеналы каналов, зачехленные моторки, голубые, рябью разрушаемые водные прямоугольники от просвета между домами, удивленная каменная маска с открытым ртом и закопченным, точно подбитым, левым глазом. Над розоватым трехэтажным строением ясно читалась альтана – прозрачная клетка, сквозь которую белело небо. В углу кампелло кривой мостик переводил на другую сторону – чтобы юркнуть в расщелину. Букетик желтых бессмертников вставлен в грубую железную скобу почти на уровне плитняка, веерное деревце облокотилось на колодец. Сбоку от водного трамвайчика бежит пенная дорожка... Особенный взгляд здесь на воду: ракурс, нигде более невозможный. Когда плывешь по морю или гуляешь по высокой набережной, этого нет. Здесь ты как святой Петр – пока не забоишься.

Добравшись до церкви Сан-Джоббе, Леонид уже снова хотел войти. В Сант-Альвизе он взял Chorus Pass – нечто вроде абонеента на право посещения ряда церквей, и Сан-Джоббе значился в списке. Вновь его встретили тишина и величие. Глаза сами собой обратились к главному алтарю, перед которым возвышалась небольшая квадратная колонка с белоснежным агнецом на связке дров. Снизу надпись: «Abramo uomo della Fede».

Как не присесть на лавку и не поразмышлять о патриархе? Принципиальная фигура: резкая, решительная, как и положено древним людям. Всматриваясь в его черты, переданные художником, или в строки книги Бытия, или в то, что писали о нем те, кому он мешал спать, пытаешься осознать, что это такое – верующий человек? Но многое ли могут дать описания, слова, в конце концов? Разгадку и рецепт на всю оставшуюся жизнь? Или это попытка изнутри понять Авраама, как Кьеркегор (потрясающий трактат с «отстранением этического»)? Не опасно ли: куда спокойнее тихо восхищаться им, как иконой. Любоваться на этого чудного ягнечка, терпеливо ждущего, когда его сожгут. *Муж веры. Страх и трепет*

Отец верующих? Во всяком случае, мимо его опыта не пройдет отец, которому суждено если не потерять сына, то на изрядное время расстаться с ним, – потому что ребенок уезжает в далекую страну, «выбрал для себя изгнание». А именно такой была теперь домашняя ситуация Леонида... Едва месяц оставался до этого отъезда, и Леонид уже давно жил с ощущением, что от него требуется какое-то серьезное слово, напутствие. Причем вначале он думал, что должен приложить все силы, но удержать сына от этого шага, осуществление которого по бюро-

кратическим подробностям растянулось на несколько лет. И часто слышал слова пророка: «... дитя протянет руку на гнездо змеи»; ему казалось, что сын это и сделал, – но раньше времени.

В один августовский день желание высказаться сделалось столь сильным (а сына рядом не было, он находился там, за океаном, работая над свершением своей мечты), что, жадно схватив лист бумаги, Леонид написал сбивчивое и многоречивое послание, которое, правда, никуда не отправил, по окончании усомнившись, так ли выразил должное, не увлекся ли своими фантазиями. Люди, посвященные в надвинувшееся на него горе, внушали: думай о сыне, о его счастье... Но что есть счастье? В чем оно? Нужна точка отсчета... Кроме того: они, родители, тоже необходимы сыну, а не только он – им... Необходимы? Прекрасно: записав мысли, в которых, возможно, есть доля истины, надейся, что она проявится не в словах твоих, а помимо них, в жизни. Но разве уже не проявилось, не выросло все, что было посеяно? И завтра Вячеслава не унесет ветер? Поздно.

Леонид, однако, подумал: не послать ли вдогонку некие «Письма утешителя» – не для того, чтобы как-то особенно успокоить адресата, но хотя бы утешиться самому, испытывая собственную веру в то, о чем пишет, поделиться тем великим утешением, что получил даром? Начинание пришлось ему по душе и, вспоминая старого поэта, он говорил себе:

Ибо если, покидая родину, сын и ждет от тебя чего-то, какого-то слова, то оно должно быть таким – чтобы знать: да, ты не одобряешь его решение, но все равно ты всегда с ним. Это делает замысел хрупким и трудным, но и необходимым. Сына гонит страх, он изнемог в безутешности, из которой надеется выбраться под сенью статуи Свободы.

И Леонид взялся за работу, желая подвизаться в древнем жанре, у истоков которого стоял Людовик Святой, а новую жизнь дал лорд Честерфилд (чьи он прочел когда-то до середины). Верил ли, что его послушают? Немногие из сверстников Леонида были на это способны. И он не столько хотел, чтобы его послушали, сколько готов был радоваться, если бы его выслушали. Но в это он, как ни странно, верил; в то, что его прочтут. И если писал, а не говорил о предельно важных вещах (есть, к счастью, и скайп, при помощи которого даже исповедь совершают), то потому, что кое-кому легче писать, чем говорить, легче читать, чем слушать. Вдобавок в тот день, когда он задумал свое послание, литургия предлагала для размышлений отрывок: «Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом...» И начать, решил он, надо с того, чтобы выяснить, почему он сам по-прежнему верен стране, в которой родился; тогда стержнем будет желание рассказать сыну о церкви – не то, что можно где-то прочесть, а то, что он недавно пережил, о той церкви, которую узнал, когда у сына уже был паспорт. Но рассказать – вдохновенно, цветисто, – мало, надо ее – тому, кто ее не принял. Отец, сделавшийся вдруг ребенком, полагал, что и взрослого сына спасет следование по пути, на который он ступил. Как иначе?

*Письма к сыну явить*

Леонид не пытался ни защищать родной край, ни тем более обвинять его; как быть вместе с ребенком, который получил жизнь через тебя, – вот в чем заковыка; как сохранить с ним связь... Глядя на белоснежного ягненка, Леонид не понимал, кто является жертвой: сын или он сам, неспособный отправиться в неизвестную страну, как старец из Ура Халдейского, который – говорят – может быть путеводной звездой для всех, кто охвачен страхом, и служить опорой, если тебе суждено потерять своего ребенка, – когда его забирают или посылают в изгнание. Все ж тебе легче, чем Аврааму, который собственноручно занес нож над Исааком. Растить сына ради того, чтобы отпустить его от себя: разве этим не разломана жизнь надвое, как кусок хлеба? Но смеешь ли ты наставлять взрослого человека? Что, если он, как урский странник, должен выйти из своей земли, повинувшись великому зову, и ему тоже было сказано: «Посмотри, вот север, юг, восток, запад, вся земля твоя», так что он устремился к обещанному? Но, подавляя доводы, которые, считаешь, необходимо выдвинуть перед ребенком, чтобы не допустить его отъезд, ты чувствуешь, что и сам поднял нож... «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого любишь, и отпусти в чужую страну, где он будет счастлив без тебя»...

Агнец, предусмотренный промыслом, лежит в ожидании своей участи. Сын Леонида, в надежде на лучшую жизнь, скитается в иных землях... Он бежал туда от ножа, который отец занес над ним, как Авраам над Исааком, – воспитанием своим (или отсутствием оно), тем, как сам жил в те годы, когда сын рос, как презрительно говорил о родине... Или это другая история? «Дай мне мою часть имения...»? Что ж, и это его право; а ты не смеешь нянчиться с ним, ограничивать его свободу. Вячеслав волен сам препоясываться и ходить, куда хочет.

В минуты этих размышлений Леонид чувствовал себя одним из тех камней, которые, если потребуется, превратятся и в детей Авраама...

Покинув центральный неф, он остановился у бокового алтаря – гондольеров. Значит, им тоже положено?... Фигуры-то довольно комичные, как и сухопутные их собратья – таксисты. Ренье неизменно сравнивает их с арлекинами, и литература не слишком их жаловала: в эпоху расцвета Венеции они якобы все пели Тассо над разомлевшими путешественниками, но потом стали заботиться только о том, чтобы обобрать туриста или увлечь на скользкий путь (если окажется женщиной). Вспомним самые последние обращения к теме у Кортасара и Дины Рубиной... Всезнающий Джеймс тем не менее называет лучших из них великими искусниками. Гондольеры – как и таксисты – могли интересоваться и чем-то еще, далеко выходя за рамки шаблонного образа. Взять хотя бы такого таксиста, как Гайто Газданов. Невольно представился старый гондольер – беглец из России, – у которого есть что добавить к . Но зачем ходить так далеко? Три года назад, когда Леонид отправился в Венецию, чтобы показать ее сыну, в аэропорт их доставил довольно удивительный мастер руля, которого следует, наверное, назвать «бомбиллой поневоле». *Ночным дорогам*

Это был мужчина без возраста – ему можно было дать и 40 лет, и 60, – охотно размышлявший вслух на потеху клиентам...

– Моя жизнь зависит от того, выйдет ли кто-то мне навстречу с протянутой рукой. Я могу работать по вызовам? Неважно, это форма, а не содержание. Работа – рыбная ловля: клюет – не клюет. Предпочитаю женщин: мужик – это почти наверняка криминал. Гроша ломаного за него не дам, не стану из-за него жизнью своей рисковать. Сам доберется. Женщина – дело другое: ей нужно. А мужик – он обыкновенно бывает пьяный и через минуту начинает разглагольствовать о политике: могу и сплевать (хотя пил он). И как они голосуют? Двумя пальцами, указывая куда-то себе под ноги. «Давайте, налетайте, я бабки плачу!» Захочешь – не остановишься. Так что мои любимые пассажиры – это женщины за пятьдесят. Сначала молчим, уважая настроение друг друга (серьезное), но какой-нибудь пустяк (кто-то у нас под носом разворачивается через две сплошных) выводит на разговор. Темы известные: хамство, барство. Однозначно согласны друг с другом. На мой вопрос: почему всё «как всегда», несмотря на волю разумных людей, желающих жить по-человечески, понимающих, что для этого надо делать и чего делать нельзя? – она поворачивает ко мне умные глаза и молчит. Мы оба хотели бы знать, почему эта страна не была предназначена для разумных существ. И сознаем, что, говоря о хамстве, нас окружающем, говорим, в сущности, и о себе. Увы, здравомыслящая женщина едва ли сядет в неизвестную машину. И не из боязни, что ее, так сказать... Бойтся она – и законно! – что водитель – чужак; может, он состоит на учете в психдиспансере (или должен состоять): разве не безрассудно верить себя? Иногда им приходится, но соглашаются они на это нехотя, и неудивительно, что садятся сзади. Говорят: «Если попадется лихач, шумакер с большой дороги, такого страха натерпишься за свои же деньги, что потом не скоро решишься снова поднять руку, становясь приманкой для браконьера на колесах». И я принужден быть не столь разборчивым: не гнущаться и мужским элементом. Рискованно? Ясный свет. Но что есть риск? Правила жития в мире нельзя выразить в форме заповеди: «Не стой под стрелой». А если ко мне с ходу, с броду обращаются на «ты», я не сержусь: слышу, что со мной говорит некое высшее существо, выбравшее лысого попутчика, едущего за любовницей, чтобы что-то мне показать. И вообще я спокоен, как и надлежит владеющему

правдой. Я не суетен, но и не самодоволен: я сосредоточен и благожелателен без слюняйства и скопческой улыбочки, которая может раздражать.

Ночью стараюсь не работать. Более эффективно, согласен, и считается, что таксист – лучший друг ночных бабочек. Скажу об этом. Хотя и не открою Америк, объявив, что и среди проституток есть люди, как и среди людей – проститутки. Но жалость к зависимым созданиям и неспособность с должной силой ненавидеть гнуснейшее ремесло – сутенерство – заставляют меня брезгливо отворачиваться и с неохотой останавливаться, если голосует молодка. «Вдруг...? – трепещет трусливая мысль. – Уж лучше инспектор». К чему лукавить: заработать они помогают, но вместо случаев расскажу лучше об одной девушке, пусть и занимавшейся этим делом, но едва ли подпадающей под презренное слово.

Она жила в городе, достаточно маленьком, чтобы самое скромное существование в нем требовало значительных усилий, но одновременно и достаточно большим, чтобы занятие, к которому ей пришлось обратиться, когда умер ее отец (а мать уже много лет была прикована к постели), приносило кое-какой доход. Смерть отца перевернула ее жизнь, в которой – внушали ей с детства – женщина стоит перед выбором, кому отдать себя: Богу или мужу? Теперь стало ясно, что все ее помыслы будут направлены на то, чтобы заботиться о матери.

Розе, так ее звали, было шестнадцать, и единственное, что украшало комнатушку, в которой она принимала клиентов, – старая икона: Христос во славе. В детстве Розу крестила покойная бабушка, от которой ей достались и образ, и некоторые наивные, но твердые представления о христианском учении. Сталкиваясь глазами с иконой, девушка на миг забывала о горестной судьбе, и лицо ее озарялось отблеском радости и надежды. Болтливые посетители смеялись над иконой, висевшей в таком месте, и задавали Розе вопрос, который Гретхен адресовала Фаусту: о вере. И девушка простодушно отвечала, что у нее нет другого способа спастись от голодной смерти. А что касается веры, то Христос, без сомнения, ее понимает, он же не судебный пристав.

Какое-то время Розе удавалось сводить концы с концами и помогать матери, но однажды у нее обнаружили все признаки печального заболевания. Не имея возможности обратиться к врачу, она прибегла к средствам, рекомендованным подругами по ремеслу, но они оказались бесполезными. Наконец толстая Сарагина сказала Розе, что есть последний рецепт: отдать болезнь кому-то из клиентов.

К сожалению, на это Роза пойти не могла. Нет, она не знала, что Учитель завещал делать другому только то, чего желаешь себе; но представляла, как обычно оканчивается эта болезнь, поэтому из жалости к человеку, который может пострадать через нее, она решила никогда больше не возвращаться к своему ремеслу.

Разумеется, этим она обрекала себя на скорую смерть, если не от самой болезни, то во всяком случае от голода. Что делать? Просить милостыню? Первым делом Роза приблизилась к иконе и, встав на колени, горячо помолилась. «Господи Иисусе! Прости мне это занятие, которое позволяет мне кормить маму. Другим оно в радость, но я отказываюсь от него, чтобы из-за меня не пострадал невинный человек. По слабости я могу уступить искушению: умереть-то придется не только мне, но и ей, которая во всем от меня зависит. Поэтому не введи меня в него, Господи. Больше мне надеяться не на кого. Но я не боюсь смерти: разве тот, кто не сделал никому ничего дурного, не должен попасть в рай?»

Нелегко ей далось ее решение, но иного выхода она не видела. Прежние знакомцы порой пытались склонить ее к тому, что оставило в их памяти приятные воспоминания, но она решительно их отталкивала, предъявляя свидетельства своей болезни.

Все же однажды вечером на пороге ее комнаты возник докучливый посетитель. Казалось, он был до того пьян, что потерял дар речи, и Роза не могла понять ни единого его слова. Это был совершенно незнакомый ей человек, который как-то узнал ее адрес и забрел поразвлекаться. Объяснить ему, что она больше не практикует, не удавалось. Но она не чувствовала страха, ей

даже показалось, что она где-то видела этого человека, давным-давно, когда была маленькой, и он сделал или сказал ей что-то приятное.

Это был человек уже немолодой: волосы с проседью, неухоженная борода. Он носил синий плащ и время от времени затягивался сигаретой. К счастью, ей, по-видимому, удалось разъяснить ему, что к чему, потому что неожиданно он отступился и сел на стул, как бы обдумывая, что делать дальше. Роза не торопила его, напротив – терпеливо ждала, пока он придет в себя. Привыкшая болтать, не ожидая, что ей ответят, она даже что-то ему рассказывала, а он то одобрительно кивал головой, то смеялся, как будто хорошо ее понимал. Снова ей стало казаться, что она уже где-то видела этого человека.

Увы, через некоторое время он резко сунул руку в карман и бросил на стол скомканную бумажку. Конечно, Роза поняла, что это означает, но поскольку ее решение было непоколебимо, отрицательно покачала головой. Тогда он рассмеялся и вынул еще одну бумажку: очевидно, подумал, что ей этого мало. Не зная, как втолковать ему, что дело не в деньгах, Роза снова повторила свой жест. Какое-то время между ними продолжалась эта немая игра, но когда на столе валялось уже с полдюжины купюр, девушка рассердилась и, встав со стула, энергично топнула ногой, желая окончить нелепую пантомиму. И тут же икона, висевшая на стене, сорвалась с гвоздя и упала на пол.

Девушка бросилась поднимать свою святыню. Вешая образ на место, она, естественно, посмотрела в глаза Христа и в этот миг отчетливо поняла, что смотрит на нее тот самый посетитель, что сидел у нее за спиной.

Это открытие полностью сковало ее волю. Тайнственная сила развернула ее к незнакомцу. В эту минуту она уже не помнила о своем решении. Не в силах отвести взгляд от его лица, Роза, как загипнотизированная, подошла к незваному гостю. Не тратя времени даром, он вскочил со стула и жадно обнял ее. А она неотрывно смотрела ему в глаза, чувствуя, что вся горит от любви, которой никогда не знала в жизни...

Когда на следующее утро Роза проснулась в своей постели, рядом с ней никого не было. Разумеется, вместе с гостем исчезли и бумажки, которые он давеча щедрой рукой разбросал по столу. Не приснилось ли ей все это? Неожиданно она ощутила в теле невероятную легкость и поняла, что ужасная болезнь ее покинула. Значит, она перешла к тому человеку? В таком случае... Пав на колени, Роза страстно возблагодарила Господа, сошедшего в ничтожный городок, чтобы ее исцелить.

Человека, которого наивная девушка приняла за Иисуса, хорошо знали местные жители. Случайным товарищам он потом хвастал, что провел ночь с молоденькой проституткой, а когда она уснула, удрал, ничего ей не заплатив. Однако через некоторое время у него открылось тяжелое заболевание головного мозга – следствие заражения болезнью, которую он подхватил, ведя беспутную жизнь, – по-видимому, от Розы, которая после этого случая никогда больше не болела.

Леонид узнал историю «Нанкинского Христа», пересказанную в неожиданной обстановке: одно из бесчисленных свидетельств того, как в жизнь человека приходит нечто иное... Что думал об этом сам рассказчик? Знал ли оригинал? Ничего этого неизвестно.

Но как прозрачно все устроено. Минуту назад Леонид почти невидящим взором смотрел на картину (читаем надпись) Париса Бордоне. Но здесь картины – и истории, рассказываемые гидами, – как-то подготавливают. И постепенно изображение вползло в фокус. Сочетание имен не было произвольным, наоборот, казалось Леониду непосредственно к нему относящимся, соединением всеобщего и личного. Петр – камень, на котором воздвигнута церковь. Андрей – брат его, от которого христианство достигло Руси. Св. Николай? Но не на его ли улице семья жила первое время после переезда в столицу?.. Арбат в Венеции вспоминается постоянно, – особенно с тех пор как его сделали пешеходным. «Ты течешь, как река...» Здесь, как и там, смотришь – и видишь иное: не праздный люд, а общие дела, итальянцы в Кремле, Але-

визы. Тянется нить: младенчество, крещение (о котором никогда и не думалось), детство-отрочество в Москве. Годы, бывшие залогом; каждый день открывает их центростремительную сущность: мы не просто живем – идем куда-то. «И позвал к Себе, кого Сам хотел...» Услышана молитва старушки, окрестившей тебя по великому зову... *Петр, Андрей и св. Николай из Бари*

Он снова поднялся с лавки. Зажег свечу и присоединил к другим, повторив за надписью у подсвечника: «Господи! Я не могу долго пребывать в храме Твоем, но, оставляя свечу, мною зажженную, оставляю Тебе частицу самого себя, лишь малую долю того, что хотел бы дать Тебе. Помоги мне продлить мою молитву во всех делах этого дня». Замечательна забота о душах, трепещущих в храме, как пламя свечей: они не пускаются без защиты в смуту жизни.

С этой стороны хорошо просматривалась капелла напротив, украшенная цветной майоликой (Луки делла Роббиа) – пять тондо купола, – которую упоминают многие писавшие о Венеции, да и снимки их нередки в альбомах. Есть чему восхититься. Видя в вышине эти знакомые зеленые плитки, успокаиваешься. Восхищение не самоцель, но эта радость не случайно здесь припасена: она нужна, нужна...

Но вот и алтарь Иова (Джоббе): Бог является верному своему слуге, который окружен друзьями, павшими на лице свое. Главный алтарь Иов уступил «старшему», и Леониду слышался некий разговор между патриархами, в котором участвовал сам... «Что это Я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоём, ибо ты больше не можешь управлять...» Не можешь?... отчет?... Господин твой отнимает у тебя управление домом; что делать? как говорить с сыном?... «Твоими устами буду судить тебя, ленивый раб...» Верно: кому дается много земных благ, тому доверия нет, а кого любят, того испытывают. И рядом с Иовом расправляешь плечи: я тоже страдал. Но: какие твои страдания? Ты многое потерял – или многого хотел? Сравнимы твои беды с бедами Иова?... Но зачем сравнивать горести? Всем больно по-разному: живущий несравним. И после того как горести отступят – хоть ненадолго – может быть, потому что ты упорно просил, чувствуешь себя иначе: эпителий твой сделался помягче, и ты стал чуточку доверчивее к людям, к самой жизни...

А если не отступят? и ты сам не отпускаешь от себя мысль, не дающую тебе уснуть?... Сделав несколько шагов, Леонид заметил у стены четверть креста – планку длиною метра полтора – и перед ней купель. Надпись: «Fai il segno di croce con l'acqua benedetta e ricorda il dono di battesimo». Не раздумывая долго, Леонид опустился на колени и произнес . Благодарность за дар крещения звучала в его сознании день и ночь – почти всю жизнь он едва ли не добровольно отказывался от него; а теперь пытается наверстать. *Отче наш*

И, стоя на коленях, почувствовал вдруг, что летит: на миг поднялся над всем, что его тревожило и окружало сетью...

Хотя церковь оказалась весьма щедрой, чего-то словно не хватало, какого-то еще штриха, некогда ей присущего, но потом... Стертого?... Что-то относящееся к Джованни Беллини (его особенно любил сын) ... Не вспоминается... И мысли Леонида обратились к философу Льву Шесту, который столь тесно связывал себя с Иовом, что зашифровал его в своем псевдониме, а памятную книгу назвал . *о На весах Иова*

«Если бы взвешена была горесть моя, и вместе страдание мое на весы положили, то было бы оно песка морей тяжелее». Весы Иова – страдание. Ты вешишь столько, сколько выстрадал. Но многим ли будет сказано, как Валтасару: «Ты взвешен на весах и найден очень легким»? Избежать страданий нельзя. Другое дело, что они бывают и праздными – если гнаться за призраком, или даже принудительно толкать себя на страдания. Чувствительны ли весы к этому?..

От Шестова готовых ответов не получишь; критики отмечали, что он не излагает свое мировоззрение явно, а лишь чужие разрушает; как по обязанности ставит под сомнение очевидное для других. Есть вещи, которых и косвенно касаться опасно, а особенно важное и значительное обычно так говорится, чтобы никто не услышал. Имеет ли смысл открытое испо-

ведение веры? Шестов считал его неприемлемым и невозможным: вера – это не декларации, а нечто более глубокое. И не допускал промежуточной инстанции. Философ, всю жизнь писавший о Боге, кажется, «ни единым словом» не упомянул о Христе. И бесстрашно вывел: «Наш творец нам не помогает. Он закрыл себя облаком, чтобы не доходили молитвы наши...»

Эту обиду легко усвоил Вячеслав, добавив от себя: «Бог – это произвол и насилие, Он непредсказуем и парадоксален. Иногда Он милосерд, но никакой философии спасения на этом не построишь: всё будет опрокинуто. „На Твой безумный мир ответ один – отказ“. Ибо и закон на земле царствует тоже один: умножение зла».

От этих жутковатых слов и загадок нет спасения тому, кто не хочет быть всего лишь читающим бездельником (и отцом-утконосом). Выбросишь ты эти книги, отречешься от них? Они много говорят о церкви воображаемой – и литературно-исторической, – но не замечают живой. Почему? Или философ не знал лично ни одного священника? Не слышал церковной музыки, не видел Амьен и Шартр, работ Фра Анджелико?

Чтобы нарушить равновесие, нужна трагедия. Но кто же будет искать ее? Не явится ли она сама – наградой беспокойному уму? И он скажет: «Не надо иронии – надоела. Не надо пафоса – в нем искусственность. Не надо спокойствия – оно симуляция. Что же надо? И вопросы надоели, и ответы фальшивые. Стало быть, не писать. Это возможно. Но не думать – нельзя». И не писать – тоже, судя по биографиям. Даже умираете за письменными столами. Спасибо вам!..

Прежде церкви, в которые Леонид заходил, были каменной оболочкой живописи и скульптуры, местом, где можно послушать орган. Теперь его поражала грандиозность того, что слабый и неблагодарный человек воздвиг, поклоняясь. Да, в венецианских церквях работали искусные мастера: резали фигуры, творили алтарные полиптихи, расписывали своды и выкладывали мозаичные полы. А потом они ушли... Оставив после себя радость. Детскую радость видеть Венецию: чудо на воде! Радость чудесной картины, стихотворения, неземной музыки... Пророк вопрошал: «Время ли вам жить в домах украшенных, когда сей дом Божий в запустении?» Венецианцы восстановили равновесие. Кто-то говорил, что в этом городе естественная жизнь заканчивается – продолжаясь в ином измерении. Venezia Eterna!.. Хроники свидетельствуют, что, ограниченные пространством, венецианцы создали уникальную атмосферу единства и согласия. Все знали друг друга, и это вело к такому доверию, какое в других городах не распространяется дальше семейного круга. Венецианцы отличались способностью к быстрому и эффективному деловому сотрудничеству. Торговая компания, даже такая, которой требовался изрядный начальный капитал и несколько лет для развития, связанного со значительным риском, на Риальто создавалась за несколько часов. Договор скрепляло доверие, и обещания не нарушались.

Разве это не «град Божий», спрашивал Леонид. И кавычки означали, что ни на миг не считал себя вправе употреблять данный термин. Но вопросы, которые он, казалось, давно решил, неожиданно снова восстали перед ним. Со стороны это не проявлялось почти никак, ибо он молчал о том, что не давало ему спать, «из уважения к чужим ушам». Но про себя чувствовал, что обязан говорить, благовествуя мир, во исполнение заповеди, ему данной; пусть и не способен делать это ладно и складно.

Что есть церковь в мире? Она пытается быть структурой, идти в ногу со временем?... И возможна ли вера в таком человеке, который и тридцать лет назад бегал на , учил немецкий по Евангелию Лютера... Что-то изменилось? *Страсти по Матфею*

После Сан-Джоббе Леонид с радостью влился в венецианскую жизнь, кипящую на канале Каннареджо в этот оживленный предобеденный час, когда обитатели окрестных домиков – далеко не дворцов – еще не успели попрятаться для сиесты, толпясь и воркуя возле лавок и лотков, на мостиках и у причалов. Широкая артерия канала открывала возможность перспективного взгляда – «панорамы». Домам здесь вольготно: они могут позволить себе балконы

и лоджии – выдвигаемые ящики письменного стола, и из каждого торчала голова в кепке и высилась кадка с цветами. Крыши были утыканы «уголками» антенн, как подсолнухи обращенными в одну сторону. Оглянувшись назад, на мост с его причудливой белой окантовкой, Леонид вновь ощутил странное блаженство, которое испытывает взгляд, следуя по этой ленте, как тело – не спеша переходя по этому мосту, лишенному прагматического духа. На другой стороне темнела громада палаццо, помнится, Нани, с двумя угрюмыми мужскими головами на фасаде – жилище, кажется, некоего нотариуса. Глядя на закопченные статуи в нишах, почерневшие пилястры, смуглых левиков под балконами, он думал: живи я здесь, каждый день вылезал бы с тряпкой и протирал. Но было радостно за людей, которые в этих невозможных условиях строительства не поленились завести полуциркульные или стрелчатые, а то и трехлопастные завершения окон среднего этажа – и не заложить их в эпоху австро-французской оккупации, когда налог на палаццо зависел от количества окон, выходящих на канал. В Венеции празднично даже без солнца. В садике Саворньян Леонид встретил кошек, но старые друзья изобразили изумление: «Разве мы знакомы?» Похоже, они не привыкли к вниманию со стороны двуногих; поэтому и пишется: «*Attenti alla gatta*». Яркие красные цветочки – предвестники будущего шалфея и олеандров – уже распустились посреди сухих переплетений, свисавших ключьями, как старая паутина. *Три арки*

У моста Обелисков он взял вправо, по Листа ди Спанья – бывшему каналу, засыпанному, чтобы увеличить пропускную способность и отвести толпу, приносимую поездами. Люди неслись по плитам, не боясь столкновений, и Леонид решил отдохнуть на скамеечке поодаль, перед церковью Сан-Джеремиа, в которой (надпись у входа) «*si venera il corpo di S. Lucia*»... Мощи? Св. Лючии?.. Когда читаешь Данте, поражает торжественность этого зачина: как все небо переполошилось из-за того, что кто-то , и бросилось на помощь, передавая друг другу эстафету: Мария – Лючии, та – Беатриче, Беатриче – уже Вергилию... Мать-заступница в качестве исходного порыва понятна, но остальные фигуры – уже личный пантеон поэта. Надо думать, Данте не случайно выбрал св. Лючию, как и Беатриче с Вергилием. Эти дружественные... *lucì* начинают дело утешения – прежде всего философией, которое апробировал еще Бозций. Как там? «Пока я в молчании рассуждал сам в себе, записывая свои жалобы, явилась мне женщина с огненными очами, зоркостью превосходящими человеческие, которая сказала: вижу, ты – несчастный изгнанник, но как бы далеко ты ни был от своего отечества, ты не столько изгнан, сколько сбился с пути...» Утешение – в зоркости, в том, чтобы прозревать то, что «глазами не увидишь» – особенно рай. не зря писалось неподалеку: природа здешних мест способствует... И как никогда прежде Леониду были внятны начальные строки: *зablудился в сумрачном лесу Paradiso*

Мы пошли дальше поэта – и заблудились в небе, не в лесу. Когда ты родился, о Библии не говорилось вслух, а теперь – стоит нажать кнопку и можно прочесть толкование любого стиха, услышать голоса святых. Рай близок, но сейчас ты неспособен идти в церковь: хорошо, что время обеда и она закрыта... Отложим до завтра...

Слева от Леонида возносилась мрачноватая стена палаццо Лабиа, которую он поначалу посчитал глухой, под стать генштабу в какой-нибудь империи зла; кампанила церкви, казалось, была встроена в само здание. И трудно вообразить, что по ту сторону царит танцевальный мир, половецкие фрески Тьеполо, Клеопатра подставляет Антонию голубые жилки для поцелуя. Угроза галантного духа по-прежнему страшила Леонида: не возражая против карнавала как богатого исторического феномена, он до головолмности боялся угодить в тот маскарад, что звался этим именем ныне. И был рад, что пиры и неги удачно экранируются неприветливой частью дворца, которую охраняет одинокий геральдический орел под крышей. Но не мог же не заметить, что бегство, пусть и краткое, от затверженных форм в поисках подлинности – тенденция вполне карнавальная, хотя силен в ней и отказ от сотворения рая вокруг себя. Пока он не мог иначе. Привычка к одиночеству сразу не проходит... Что с того, что у тебя появились

новые знакомые, принадлежащие к той же церкви? Внешне это едва ли отличалось от прежних дружб и связей, но ты уверен: «брезжил над вами какой-то таинственный свет...» Ваши встречи, начинания (не говоря о молитвах), они не были делом двух (или более) человек – и все; происходящее касалось не только вас: незримо присутствовал кто-то еще. И, с одной стороны, это преодолевало, устраняло одиночество, с другой – утверждало в небывалой степени, меняя при этом его качество: делало сознательным уединением. Обретенное спокойствие не позволяло замкнуться в самодовольстве, наоборот – влекло распахнуть себя настежь – для тех, кто стоял спиной...

Разговор с Вячеславом следовало начать с «како веруеши?». Но не упущен ли час? Не разошлись ли вы дальше, чем эллины и иудеи?.. Упущен? Скажи лучше: тебе страшно беречь сей вопрос, чтобы не услышать от сына: «А ты пытался дать мне веру – или, потешаясь, отнял ее?.. Я обращаюсь к Богу напрямую – посредники ни к чему. Заповеди? Законы? Каждый различает сердцем добро и зло. Разве Иосиф не ответил жене Потифара: Как могу я сделать это великое зло и согрешить перед Богом?.. То, что он почитал злом, еще не ствердело заповедью. Значит, сознание греха дано нам изначально – с тех пор как праотец узнал, что он наг. Но одеться не удалось. И Ветхий Завет дает вполне реалистическую картину нашего существования: никаких иллюзий и надежд на чье-то милосердие. Надо отвечать за свои поступки – вот альфа и омега. А „заповедь новая“, странные притчи, „подставь другую щеку“ – зачем все это? Не понимаю. И вечное морализаторство, попытки словно сделку заключить. А на деле: „В мире скорбны будете“. Будем. Надеяться не на что. Но... „мне мерзок человек, святыню превративший в ремесло!“ – помнишь, у Гёльдерлина?.. На что мне церковь, если есть Бах и Рембрандт?»

Но они же не слышат тебя, смешной дуралей! Не ответят и не спасут... Церковь – это небо на земле, в ней мы рождаемся заново, по-настоящему... Мог ты сказать это? Думая так же чуть не всю жизнь? Да и... как ребенку понять роль Спасителя? Пока он не приобрел опыт и сознание греха?.. После этого Христос, возможно, станет реальностью, а не персонажем литературы. И будь рядом добрая бабушка или дядька, он, не понимая, полюбил бы хоть обряды, установленные церковью в поклонении, – или архитектуру, апсиды и колокольню родного храма. Не сподобился... Почему ж девочки подхватили?

Сознание греха... Все-таки коснуться этого? Рассказать о вечернем испытании совести – как оно устраняет поспешное самооправдание и лишает притягательности перенос ответственности за свою жизнь на других?.. Поговорить бы с ним в тишине летнего вечера. Но на бумаге это окончится – вместо утешения – нападками на его святыни: «демократические преобразования», «социальную защищенность»; в надежде убедить, что нельзя сделать больше того, что делает церковь, которая молится за правителей, а не злословит их; что царства падут, демократические ли, деспотические ли, только любовь останется – которой ты поделился, которую сумел явить. Или не сумел...

«От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься»... Но писать надо, ему надо, чтобы ты писал. Он ищет утешения...

Леонид не ждал, что пребывание в Венеции ограничится ликованием. Но не удивлялся и тому, что именно в этот день состояние, близкое к отчаянию, не раз сменялось радостью, – когда он переступал порог храма. И уже не опасался, что его решимость держаться церковных стен окажется слишком самонадеянной. Отдалившись от привычных форм и ритмов жизни, он сделал это, чтобы сосредоточиться на тишине и неторопливости.

«В тот день двое будут в поле: один возьмется, другой останется»... Сын взят у тебя, дочери оставлены: все по написанному. Спасибо чистому словесному молоку, питающему младенца... Странное – для туриста – существование ты ведешь: не занываешь в кафе, когда голоден, а довольствуешься чаем в номере, потому что тебе удобнее одному, рядом со своим дневником. Не хочешь с важным видом поедать пиццу или зурра, мечтая быстрее убежать

к записям и мыслям... Удобнее? Но тебе нужно уединение, у тебя не хватает решимости развернуть священный текст в харчевне, даже если ее и величают... «Нехорошо, оставив слово Божие, пещись о столах...» Обойдешься без стола, на тумбочке чаю попьешь, зато... Сможешь почитать, помолчать. Моментального откровения не будет... «Зачем ты здесь, Илия?» Вопрос задан тебе; и чтобы ответить, сам спрашиваешь: «Зачем?» Слово посеяно, что будет дальше? – знать бы... Подождешь. Вернешься позже. Пока не можешь вместить... Знать бы, когда придет вор... Но ты не знал, занимался собой. И где твое дитя? Вор забрал его... *остерией*

Евангелие дня содержит притчу о сеятеле. Что говорит она тебе сегодня?.. Мало радостно принять слово: нужно иметь в себе корень – почувствовать его в самый тихий свой час. И не соблазняться заботами: если стоишь на доброй земле, то воспитывай ее, ограждай от распыления и осквернения. А плодами делись... Но ты зачитался, ты читал давно... Это и есть вера? «Вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их...» Остается только прочитать, услышать. Можно ли быть уверенным, что услышал Его ответ – не свой; не сочинил собственный образ Иисуса и услышишь: «Отойди, не знаю тебя»? Четверка передает святой образ в непостижимой цельности, но ты-то выхватываешь отдельные части; не инфантильно ли – искать надежных толмачей, посредников, которые объяснят всё? Но и полагаться только на себя – тоже нельзя: не читать надо эту книгу, а исполнить как ораторию, вместе с церковью, которая для того и поставлена; спасибо за этот путь.

Вечером, перекусив в номере, Леонид вошел к Святым Апостолам. Эту церковь он сразу окрестил своей: гостиница находилась в двух шагах, и он по праву причислил себя к этой *parrocchia*.

«La porta della Fede è sempre aperta» – было начертано под купелью с небольшим золоченым распятием, воздвигнутым на кучке камней. «Но не хотели войти...» Просторная однонефная церковь светилась, напоенная лучами солнца; до мессы оставалось еще часа два, поэтому не было ни души. Впрочем, церковь пустой не бывает. Чувствуется чье-то присутствие. И не потому, что дверь ризницы не прикрыта. Стоят цветы, пылают свечи... «Если церковь пуста, то это не Церковь, а только храм». Но для кого-то и «только» порой значит: «единое на потребу». Мы снова здесь, изменчивые тени...

Леонид не спеша осмотрел все. Отметил обитые зеленым бархатом широкие скамеечки для ног и таблички, прикрепленные к некоторым стульям в передних рядах: «Familia Pivetta», «Familia Fuga», «Familia Lisier». Эти представители почтенных семейств – несомненно, «любящие председательствовать в синагогах», – чувствуют, что набор в Царствие идет по-прежнему, пусть кто-то за церковными стенами и считает, что мир делается все более языческим. Понятно, делается... Но еще есть – пока ярк свет. И надо о них позаботиться. Помяни наши имена, Пресвятая Дева, в своих молитвах. *места*

«Io sono il pane vivo» – гласила красная надпись в одной из капелл, предвзяря . Леонид не был ни знатоком, ни любителем живописи, но мимо этой картины не пройдешь. «Тело Мое, за вас предающееся...» Св. Лючия жила в III веке, когда это таинство – как и теперь – нуждалось в разъяснении, и художник (уже в галантную эпоху) показал, что оно значило для той, которая была осуждена на мученическую кончину. *Причастие святой Люции*

Человека, лишь недавно начавшего приходить к причастию, спрашивают: что ты чувствуешь? такого, чего не было раньше? И что он ответит? Осмелится ли?.. Но почему нет? Если расскажет о том, что действительно чувствует, не о том, что ему недоступно, неведомо. Правда, чувства не так и важны здесь, но иногда... слышишь некий вопрос или напутствие, подготовленное словами священника: «Мир оставляю вам». На миг открывается далекая перспектива, «тысяча биноклей на оси»: весь сонм тех, кто до тебя приступал к этому; особое чувство принадлежности к роду человеческому... Вспоминается поразившая когда-то запись в сибирском дневнике Кюхельбекера: «Сегодня сподобился я счастья причаститься святых Христовых тайн». Что стоит за этими словами?.. Обращаешься лицом к миру, к истории; все

становится внятно тебе. И одиночество умолкает, причем как-то иначе, нежели в разговоре с другом, с любимой женщиной. Воздвигается точно некая опора, которую ты в какой-то степени утвердил своей верой – стремлением к ней. И не удивительно, что молитвы после причащения столь же прекрасны, сколь и лицо св. Лючии: ведь это преддверие рая, кусочек его... Бог, смиряясь, нисходит к человеку; ты – приступаешь к тому, что неизъяснимо рационально... «Святые таинства: лишь сердце знает вас!»

Перед иконой Девы Марии колыхалось целое море свечей. «La tua preghiera sale a Dio. La tua offerta aiuta i poveri. – Да вознесется к Богу твоя молитва. Да поможет бедным твое пожертвование». – И грандиозная поэма разворачивалась в обращении, адресованном тем, кто преклонил колени и зажег свечку у этого образа.

(Приводим ее, как есть – свидетельствуя о подлинности и следуя венецианскому принципу: использовать для строительства готовые архитектурные детали).

SORELLA,

FRATELLO,

che seguendo l'impulso del cuore sei venuto a pregare davanti a questa imagine di Maria Ss.ma e forse stai per accendere anche una candelina di devozione.

CERCA DI DARE UN SIGNIFICATO PIENO

A QUESTO TUO GESTO

PERCHE' DIVENTI SEGNO DI FEDE PROFONDA.

Forse stai attraversando un momento di sofferenza:

– o per la salute tua o de tuoi cari... o per la tua famiglia... o per la solitudine...

– o ti trovi in situazione che ritieni ingiuste, insopportabili...

– oppure non vedi il senso di quanto ti succede... ti senti ribellare...

– forse la tua stessa fede vacilla...

..... EPPURE SEI QUI A PREGARE!

FERMATI UN ATTIMO:

guarda con attenzione questa imagine della Madonna

di fronte alla quale intere generazioni hanno pregato.

E« l'immagine della Vergine Maria, la Madre di Gesù,

– creatura umana anche lei, come ciascuno di noi,

– provata dalla vita anche lei, come noi... più di noi:

MA CON UNA DIFFERENZA MOLTO IMPORTANTE:

LEI HA MESSO DIO AL PRIMO POSTO NELLA SUA VITA,

come la roccia su cui poggiarla saldamente;

si è fidata di Dio non solo quando tutto filava dritto,

ma anche quando soffriva

e non capiva il senso di quanto le succedeva.

Questa imagine ha una particolarità:

presenta la Madonna sotto il titolo di «» **ODIGITRIA**

parola di origine greca che significa: «» **COLEI CHE INDICA LA VIA**

cioè il suo Figlio Gesù che ha ditto di se:

. **Io sono la Via – la Verità – la Vita**

E GUARDA ANCHE GESÙ», frutto del suo seno:

ha la alzata in segno di benedizione; *mano destra*

nella tiene *sinistra*

il **LIBRO** (rotolo sigillato) DELLA VITA E DELLA STORIA

in cui è scritto il progetto con il quale Dio vuole salvare ogni uomo.

Disegno, per noi molto spesso difficile («») da capire, *sigillato*

come il senso della nostra vita, del dolore, di certi avvenimenti...

Ma lui, il Figlio di Dio, «Parola di Dio»,  
conosce i misteri di Dio e può, e vuole, farceli conoscere.

**Lui, il Signore delle potenze del cielo e della terra  
sa servirsi di tutto perché il progetto del Padre si realizzi in noi:  
perché anche attraverso le croci, nonostante qualsiasi momentanea sconfitta  
possiamo ottenere la «felicità» vera e duratura, cioè la Salvezza eterna**

Adesso, puoi pregare con Maria e come Maria:

*, **Eccomi, o Signore, aiutami a fare la tua Volontà**  
a capire quanto sta succedendo nella mia vita e nel mondo,  
a collaborare al tuo disegno di salvezza per tutti gli uomini.  
Sostieni la mia Fede,  
, donami la certezza che mi sei sempre vicino, anche in questo momento  
. **che mi ami sempre, nonostante tutto**  
, E tu, Vergine Santo, Madre di ogni uomo  
che hai vinto il demonio tentatore, aiutami a non cedere al Male,  
alla tentazione, allo sconforto, alla stanchezza.*

**Prega per me, per coloro che amo,  
per chi mi fa soffrire,**  
*per tutti coloro che soffrono nel corpo, nel cuore o nello spirito,  
. perché il Signore ci conceda conforto, sollievo e la sua pace*  
Ora la fiamma della candelina, se l' accendi,  
Sia il segno della tua Fede: che c' è una Luce che vince le tenebre,  
– che orienta il tuo cammino nella vita,  
– dà senso al tuo soffrire, ad ogni tua giornata, al tuo operare,  
– riempie la tua vita di Speranza, di pace, di gioia,  
tanto da poterla donare anche a chiunque ti incontrerà.

Сестра, брат: следуя сердечному порыву, вы пришли помолиться перед этим образом Пресвятой Богородицы и, возможно, зажгли свечу. **ПОСТАРАЙТЕСЬ НАПОЛНИТЬ СМЫСЛОМ ЭТО СВОЕ ДВИЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ОНО СТАЛО ЗНАКОМ ГЛУБОКОЙ ВЕРЫ.**

Быть может, ты переживаешь трудный момент:

– или сам нездоров, или тревожишься о своих близких и родственниках... страдаешь от одиночества...

– может быть, попал в положение, которое считаешь несправедливым и невыносимым...

– не видишь смысла в происходящем... возмущен до глубины души...

– или сама вера твоя ослабела...

... **ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ТЫ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ МОЛИТЬСЯ! НЕ СПЕШИ:**

Вглядишься в образ Мадонны, перед которым молились целые поколения. Это образ Девы Марии, Матери Иисуса,

– создание человеческое, как и мы, как каждый из нас,

– испытанная жизнью, как и мы... большинство из нас:

**НО С ОДНИМ ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ ОТЛИЧИЕМ:**

**ОНА ПОСТАВИЛА БОГА НА ПЕРВОЕ МЕСТО В СВОЕЙ ЖИЗНИ,**

как скалу, на которую опиралась с уверенностью; она была верна Богу не только тогда, когда все шло гладко, но также и в страданиях, когда не знала, какой смысл имеет происходящее.

Это изображение представляет Мадонну, называемую что в переводе с греческого значит **ОДИГИТРИЕЙ, ТА, ЧТО УКАЗЫВАЕТ ПУТЬ**

т. е. на Сына своего, Иисуса, сказавшего о себе:

**. Я есть Путь, и Истина, и Жизнь**

Посмотри также на Иисуса, плод чрева ее:

Его рука поднята в знак благословения; *правая*

в Он держит КНИГУ (свиток с печатью) ЖИЗНИ И ИСТОРИИ, *левой*

в которой описан божественный план спасения каждого человека.

Этот план нам весьма трудно постичь («печать» на свитке), так же как и смысл нашей жизни, страдания, многих событий...

Но Он, Сын Божий, «Слово Божие», знает тайны Бога, хочет и может помочь нам познать их.

Он, Господь, Владыка неба и земли, пришел, чтобы послужить всем, дабы план Отца осуществился в нас, чтобы, даже пройдя через крестные муки, невзирая на временные поражения, мы смогли достичь счастья истинного и прочного – Спасения в вечной жизни.

Здесь ты можешь молиться с Марией и подобно Марии:

« , *понять происходящее в мире и в моей жизни, быть соратником в Твоем плане спасения всех нас. Укрепи мою веру, дай мне уверенность, что Ты всегда рядом, даже и сейчас, .*

***Вот я, Господи, помоги мне творить Твою волю любишь меня, несмотря ни на что***

*И ты, Пресвятая Дева, победившая беса-искусителя, Мать всех и каждого, помоги мне не сдаться злу, искушению, не впасть в уныние, не уступить усталости.*

***; Молись за меня, за тех, кого я люблю, за тех, кто причиняет мне страдания***

*. за всех страждущих телом, сердцем и духом, чтобы Господь даровал нам утешение, покой, мир*

Пусть пламя свечи, если ты возжег его, будет свидетельствовать о твоей вере: ибо это Свет, победивший тьму,

– помогающий тебе не заблудиться на жизненной дороге,

– придающий смысл твоим страданиям, каждому твоему дню, всем твоим делам,

– наполняющий твою жизнь надеждой, покоем, радостью,

чтобы ты мог делиться этими дарами со всеми, кто встретится тебе на пути».

До закрытия церковей оставалось еще немного времени, и, несмотря на долгое пребывание у апостолов, Леониду хватило сил заглянуть в находившуюся неподалеку (а в Венеции всё находится неподалеку, если знать дорогу) церковь Сан-Дзаккария. Хотелось еще тишины – в согласии с комической табличкой у входа: «La chiesa è luogo di preghiera». Как видно, объяснения необходимы – причем по-итальянски, стало быть, предназначены для своих, не для forestieri!

Леонид сел против Беллини, которая едва обозначалась в надвигающихся сумерках, но фотограф-немец упорно кормил аппарат монетками, и храм освещался. Это «собеседование» помогало размышлениям; а свв. Екатерина и Лючия (она уже, по-видимому, неотступно следовала за Леонидом), разделенные ангелом с виолой, вызвали в памяти дуэт «Mond und Licht» из ... Церковь Сан-Дзаккария слишком знаменита в истории города, чтобы легко было (по крайней мере, Леониду) войти в нее как в обычный храм (а не как в музей). Но он отрезился от полотен из венецианского прошлого, – чему в немалой степени помогло распятие с огромными гвоздями, торчащими из ран, и виноградной гроздью в нижней части – с ягодами-агатами и другими драгоценными камнями. И снова отчетливо расслышал: «Mond und Licht ist vor Schmerzen untergangen». Венеция предостерегает от автоматизма, в ней нельзя жить по-залаженному, это город неожиданностей, где нужно смотреть во все глаза – другие рецепты мало помогают. Знаменитая церковь? Но и в ней идет обычная приходская жизнь; любая церковь важна для тех, кого окормляет, есть центр их мира... И мимо туристов бесшумно прокрадывались пожилые венецианцы – в боковую дверцу: на исповедь или для разговора со священником. Леонид словно увидел самого себя, идущего к отцу Ивану. *Мадонны Страстей по Матфею*

Кампо, в углу которого стоит церковь, напоминает проходную комнату во дворце, и в старое время оба выхода с него на ночь запирались. Сан-Дзаккария едва ли не старше Сан-Марко, но дух здесь витает иной: укромная площадка удобна для темных дел – не для процессий с хоругвями – и была ареной многих политических убийств. Автор одного путеводителя утверждал, что церковь посвящена пророку Ветхого Завета, убитому между жертвенником и храмом, а не отцу Иоанна Крестителя. Тогда еще очевиднее связь этого места с тем, кто был порублен на куски изуверами, страшившимися прихода Сына Человеческого. И находится в церкви не зря... Евангельский Захария – один из самых понятных тебе персонажей: его «конек» – молчание. Узнавший, почувствовавший иное присутствие молчит от безмерности соприкосновения. Но язык необходим, пусть внутренний, язык разумения как такового. Слова не выражают человека – в этом случае особенно. Они даны ему – для других, но их это переживание не касается; оно касается тебя и того, кому слова не нужны – нужно сердце наше... *Рождество Иоанна*

Наблюдая итальянцев, Леонид не сомневался, что говорливый народ, снующий от бутика к бутику, заслуженно является наследником своей истории. Они торопятся, приезжая сюда на день-два, чтобы обежать лавки, где так много добра продается со скидкой в зимнее время. И болтают напропалую – не о высоких материях, а о батисте и бархате; но под сводами золотой, как и много веков назад «голубятни», понимаешь, что начало этого города было величественным. И тянет снова поехать в Торчелло и Мурано – к двум сестрам Сан-Марко, по-видимому, старшим: Санта-Мария Ассунта и Санти-Мария-э-Донато...

Никто не постиг закона, по которому переходишь от радости к сомнениям и обратно, снова начиная жить. Но ты был сегодня в Сан-Марко, сказал себе Леонид, вернувшись в гостиницу и записывая впечатления длинного дня. Ты молился в почти пустой, сумрачно-величавой «капелле дожа». И это не колебания настроения; сомнения в правильности того, что делаешь – кто их не ведает? *Momenti di sofferenza* – как называет подобные состояния замечательный пастырский текст у Святых Апостолов. Но замалчивать их? Гнать прочь? Надо разобраться... Может быть, тихонько посидеть в церкви, пройти вдоль пустынных каналов или, наоборот, потолкаться на пьянице...

Делая записи, думал ли Леонид, что кому-то это нужно, или это были те сугубо личные откровения, никуда не ведущие, которые, обнаружив через несколько лет, выбросишь, пожав плечами? Чувствовал ли хотя бы отчасти тот настрой, что вдохновлял строителей великого собора – веривших в своих читателей, которые с наслаждением будут разглядывать их письменна и с радостью примут в дар сводчатые страницы каменных манускриптов, а чем больше они оставят потомкам, тем горячее будет их благодарность?.. Еще недавно Леонид горько рассмеялся бы, заподозрив себя в подобных претензиях, но сегодня уже хотел, чтобы люди – пусть трое-четверо – узнали, как он открывал Венецию, церковь, самого себя. Раньше его интерес к церквям, если и не отсутствовал вовсе, но был интересом этнографа. То, что их наполняло, казалось своего рода убранством, экспозицией. Теперь он думал: хорошо ли здесь молиться? могла бы эта церковь быть моей?.. И в одном не сомневался: молиться здесь хорошо не только в церкви, но и в своей комнате, а также на любом углу; тишина помогает.

Когда ты отправился сюда во второй, в третий раз, знакомые удивились: «Опять Венеция?» Потом уже по привычке к прихоти. Но разве ты узнал этот город достаточно, чтобы переключиться на следующий? И сегодня – не другим человеком сюда приехал?.. Желая убедиться в этом, он перелистал записную книжку (весьма толстую тетрадь), в которую заносил свои венецианские впечатления и отрывки из литературы. Естественно было остановиться на страничках, которые теперь можно озаглавить так:

До последней минуты я не верил, что это возможно: «*Aqua alta*...» Куда более вероятным казалось привычное: «Вьюга метет в окно...» Но чудо состоялось...

В самолете рядом со мной сидела девушка. При посадке, когда даже бирюку не сдержать эмоциональный подъем (невольный каламбур), я подивился, что внизу зеленеет трава: «Неужели у них уже весна?»

– Нет, что вы, – сказала соседка. – Она и месяц назад была такая, и два...

– Вы так часто здесь бываете?.. Кем же вы работаете?

– Я больна Венецией...

Не повторяй своих ошибок и не старайся их забыть. Но когда приблизишься к сорокалетнему (или к другому логическому) рубежу, отправляйся в Венецию и смотри в зеркало вод, чтобы, как лебедь, увидеть своего двойника – того, кем ты мог бы стать. До окончательного прозрения еще далеко, но... Если хоть в каком-то смысле у тебя откроются глаза на что-то, прежде скрытое стенами тюрьмы твоего страха и твоего тщеславия, то ты уже не забудешь этот опыт и будешь стараться повторить его.

Но что я понимаю под этим – «мне сорок лет сегодня вечером»? Венецианскую комнату с видом на три моста и самый длинный день, проведенный в ней – после блужданий по городу, в размышлениях... о пути своей жизни? Приняв в расчет зло, которое я причинил, и то, я встречаю свои сорок лет, нельзя отрицать: обошлись со мною совсем не плохо. Наказание может ожидать меня впереди (учитывая и то, что я еще совершу), но пока... меня больше баловали, чем наказывали. Спасибо... *где*

Предаваясь самопознанию, нельзя не испытывать к себе жалости, сознавая, что нет более несуразного существа на свете. Почему-то избегаю открытых путей, но собственный дремуч и темен, и не видать его. Эта поездка – предел эксцентричности, достигнутой мною в жизни. Вряд ли кто поймет и не осудит. Разве что та, которая у меня одна. Но она и так понимает более других: она «всегда со мной».

Играем Бродского? Ехать в Венецию – теперь для русского путешественника это в какой-то степени значит ехать к нему. Пусть на Сан-Микеле и не тянет... Хочу, чтобы за мной тоже признали это право, желание – приезжать сюда в третий, в четвертый раз и так далее. Повторяя Генри Джеймса, чьи приобрел в «Павильоне» у Giardino reale, я не намерен никого просвещать и писать о Венеции то, что еще не было написано. Мне нужно пожить в этом городе. *Итальянские часы*

Но дни здесь если и не облачны, то, как заметил Петрарка, кратки. В два часа пополудни уже закатная усталость теней. Такова итальянская зима.

Сценарий пребывания – свободный, не потерплю я принуждения в сорок лет. Если не допущу себя до отчаяния, это уже будет чудом. Скучаю ли по своим cari? Праздный вопрос. Каждый день хожу мимо, в котором мы жили, и («Котика»), где вместе обедали. Мазохизм, согласен, но с ним легче: душа не пуста. *Bonvecchiati Chat qui rit*

Много часов брожу без цели. Это единственное, что можно делать упорно, непрерывно и целенаправленно. Но постоянные колебания центра тяжести при подъеме и спуске с мостов обеспечивают и смену настроений. Чем же опасны чрезмерности самопознания? И пристрастие к пьядце Сан-Марко как к рабочему кабинету? Не стоит ли хоть раз пронестись по сей площади в карнавале, забыв свое имя и отказавшись от лица? Заразиться неким празднично-приподнятым чувством жизни, иллюзией сверхчеловеческого бытия и отдаться ему? И не всякое ли бытие – если сравнивать его с небытием – это праздник, счастье, карнавал?

Ходить туристскими тропами – слишком банально, но что делать, если, как он говорил, не смог родиться в этом городе? Выбор, который был: побывать в Венеции или не ездить в неё, перестать думать о ней. Выбрано первое, что ж роптать-то?.. «Выбрано»? Кто-то может с уверенностью сказать, что там? Своими глазами видел Дворец дождей, Салюте, высаживался на Торчелло? Но поверить в это нельзя, не став вымыслом самому. *был*

Закономерно, что в этот приезд я оказался в отеле И в отведенный мне номер 802 я не прочь вернуться – на следующий юбилей. Вид из окна – просто мое почтение: этот «крест» –

перекресток мостов хочется снимать снова и снова. Особенно если не живешь здесь, а пытаешься запечатлеть с низкой точки. И шуту гороховому, бросившему якорь рядом, это легче легкого. Как и многое другое, затруднительное для людей серьезных. Угловой номер дает преимущество двух перспектив: из второго окна открывается видута на канал Буркьелло, выстроенные по струнке гондолы и лодки. А горы над лагуной выступают, как водные знаки – или миражи: различимы только снежные вершины, черный низ отсутствует. *Арлекино*.

Первое, что вижу по утрам в окно: огромного рыжего кота, спящего на перилах альтана соседнего дома, по ту сторону моста, который через час перейду. Отсюда наблюдаю восход солнца: внизу – темно-зеленый канал, выше – желтоватые кипарисы и вдалеке над ними – призрачная и почти прозрачная округлость Сан-Симеоне Пикколо с «наконечником», над густой ярь-медянкой садов Пападополи.

Наверное, на второй или третий день, когда я рискнул отклониться от променадов и ошупью двинулся вдоль «гранде-канале» (хоть это и невозможно посуху, но речь не о движении по прямой), начал работу тот продуцирующий механизм, который, не доверяя фотопленке и тем более сетчатке, сам стал, как фотопленка, кратко и резко фиксировать всё, что я видел вокруг себя. В Венеции, где красота *ab aeterno* была культом, быстро становишься коллекционером вроде Дез Эссента. Но, доставая аппарат или записную книжку, я чувствовал себя вором. Казалось, венецианцы оглядываются и замедляют свой бег, чтобы спросить меня, как я собираюсь использовать их «фактуру». Не придется ли мне разделить участь четырех сарацин (тетрархов у Сан-Марко), которые окаменели, пытаясь ограбить сокровищницу собора? Когда я вдруг забредал во дворец и встречал монументально растущего на возвышении стража (которого нельзя опознать по униформе, потому что одет он куда лучше меня), замечая на двери надпись: «No tourist, please», я их понимал. Какое кому дело, что палаццо Гримани (например)? Проходи, *guarda e passa*, как было сказано. А если в узком и длинном ущелье, предназначенном исключительно для одностороннего движения, столкнешься с вереницей, деловито спешащей к переправе, чувствуешь, что ты лишний в этом серьезном городе. Население здесь изрядное: школьников – стада, в час дня их, как скот, прогоняют по переулкам на кормежку, а потом в Академию. Тогда – берегись, забирайся в лавки, посторониться не удастся: сметут и оглушат. *No tourist, please*.

А в остальном все было как всегда: гондолы возили японцев, голуби ползали по Сан-Марко... Поначалу меня волновал вопрос: *Venezia chiusata* или *aperta*? Кампанила и многое другое закрыто и задернуто полиэтиленовыми пакетами и серыми чулками, но закрыта ли Венеция как таковая? Не может ли она в любом состоянии преподать те уроки, которые люди вроде Модильяни потом будут считать важнейшими в жизни?.. Венеция – открытый город. В нее приезжают те, кто хочет, распахнув окно на Адриатику, бросить взгляд на европейскую культуру – пусть отошедшую, но, как всё созданное когда-то людьми, не исчезнувшую бесследно: отголоски старого различимы и в новых формах, в той цивилизации, что пришла на смену.

В этот приезд я почти не искал новых впечатлений – чтоб укорениться в излюбленных. И каждый вечер в час, означенный в сознании неутолимым зудом, шел на Сан-Марко, смотрел, как по обеим сторонам каменной трапедии выстраиваются вереницы огней, голуби исчезают и в полудымке снуют зачарованные тени по-прежнему деловитых венецианцев или редких туристов, которых магнетически тянет на пьядцу. На этой подвижной сцене все время идет спектакль – неспешный, но многовековой, и никому не возбраняется присутствовать.

За первый час пребывания, *soggiorno*, здесь я успел узнать, что нет ничего вкуснее сырокопченой колбасы с улицы Талалихина, которую ешь с итальянским хлебом, мягким, как сметана, который *già tagliato* уже разрезан надвое, чтобы туда как раз колбаску и вложить. А записывается это, само-собой, *vino locale*. е, но *dal Veneto*, за 2,30 литр, купленным в магазинчике

за углом (мудрое расположение гостиницы). И мой обед с первого дня остается неизменным: хлеб и вино. Очень по-итальянски. – , . *Merlot*

Я не мог принудить себя пойти в какой-нибудь музей или в церковь. Культурно-просветительские поездки сюда остались в прошлом, сведений в голове хватало: недоставало чего-то иного... И вдруг мне показалось, что я живу-таки, давно живу здесь, точнее – неким безвольным мечтателем из книг Анри де Ренье лежу в госпитале для неизлечимых, а красная стена, в которую вделаны толстощекие амурсы, – последнее пристанище моего блуждающего зрачка; и мир ограничен бледными горами на горизонте, в которые тоже не верится... Можно ли быть несчастным в солнечный зимний день на фундаменте Дзаттере? Но за счастье надо... платить? Благодарить – и это тоже плата... На другой стороне канала Джудекка белеет массивная церковь Реденторе в окружении мелких домишек: кажется, посреди детских туфелек кто-то водрузил взрослый сапог.

Очнувшись, я все же посетил Мадонну-дель-Орто, о которой много слышал. И меня поразила золотая лестница, возносящаяся, как гора. Я не спец, но стоял, подобно старцам на полотне, в изумлении повернув голову. А Беллини, которую шел как-то смотреть Жозеф, видеть уже было нельзя: ее украли ночью 1 марта 1993 года, и вместо нее, под пустой рамкой, стояла фотография, «*quasi in grandezza naturale*» Где ты теперь, благословенная, кому смотришь в глаза: своему похитителю – или скупщику краденого, воображающему себя знатоком?... А мимо, к выходу, протопала довольная делегация, прослушавшая лекцию о «Страшном суде» Тинторетто, размерами вдвое (лишь) меньшими микеланджеловского. И мне вспомнился его же в Palazzo Ducale: это море голов, прямо бахча какая-то... Как и Данте (по сравнению с его же), этот парадиз не убедителен. «Отвратительный вечный покой», говоря словами грустного поэта... *Введения Марии во храм Мадонну . Рай Рай Адам*

Отношение профана к шедеврам противоречиво; даже не к ним самим, а к . Множество подлинников заменено копиями – и ничего: в них все равно ощущается энергия их творцов. Такой человек, как я – не самый дремучий, надеюсь, – не отличит. Не говоря уже о том, что Джироламо да Санта-Кроче, например, которую никто не упоминает, по-моему, важнее леонардовской, хотя бы потому, что ее можно рассмотреть. Но я молчу, молчу... *институту шедевров Тайная вечеря*

Как называются эти выносные часовенки-алтари, посвященные Марии или св. Антонию, которые так часто встречаешь в узких переулках и глухих углах? Разубранные цветами и призрачно парящие над головой?... У такого места поневоле задержишься. И их множество. Потому и задерживаешься... надолго.

Даже на том клочке *campiello* (пяточок «Три моста»), который виден из моего окна (в нескольких метрах от него уже начинается *Piazzale Roma* – шлюз между Венецией и современностью), есть место адорации – у бара . Два пути? И надо выбирать?... *Tre ponti Due ruote*

Долго еще сердце будет сжиматься, вспоминая солнечные утра у тихих венецианских церквей. Сант-Альвизе в ранний час, когда длинная тень соседнего здания косо падает на главный фасад и делит пополам кампо. Плещет канал, качаются, постанывая, лодки. Вокруг ни души...

«Venice: handle with care». Уличный плакат.

Побывав здесь, нельзя отказаться от мысли, что этот странный, невиданный город представляет собой те «врата в бесконечность», в которые пытается войти одинокий искатель. А свидетельством концентрации служит хотя бы то, что однажды я педантично сосчитал, сколько шагов до Сан-Марко от моего обиталища: 2595 – совершенно раскольниковское число. «Pericolo di morte» – предупреждают каждого входящего.

Когда встречаешь интеллигентного, молчаливого, безукоризненно одетого человечка в глубине двора, на забранных сеткой воротах которого написано «No tourist, please», мало что

читаешь в его глазах немой крик «Доколе?!», но вспоминаешь и две пушки на мосту, обращенные к материкам, – еще одно выражение противостояния Венеции и мира... *Libertà*

По всем правилам, сегодня следовало бы закатить некий пир, но разве могу я поступать по правилам? Посторонний наблюдатель и так заметит, что нужно как-то особенно не любить себя, чтобы на свой день варенья, на «круглую дату» остаться одному, в чужой стране, лишиться себя праздника в компании временных идолопоклонников. Похоже, сей акт – бегство в Венецию на сорокалетие – довольно красноречивое выражение некоего отношения и к себе, и к другим, и к жизни вообще.

В этом городе чаще чем где бы то ни было, возникает стремление «Туда! Туда!». Всякий раз, как переулочек оканчивается мостиком... Взойдя, повернешь голову и увидишь уходящий канал с сиянием в конце, где он впадает в более широкий. Откуда льются эти волны света? Куда ведут серебристые дорожки?..

Каменная скамья под колоннадой Дворца дождей – лучший приют для усталого путешественника. Отсюда хорошо обозревать мир – или забывать его. По блестящим плитам подходит некто с клювиком, на тонких перепончатых лапках. Нет, это не попрошайка, интерес у птички чисто эстетический. «С днем рожденья, дружок!»

Бродя по Венеции, вспоминаешь Мимино и его одинокие блуждания по Москве без копейки. Здесь блуждаешь более по внутреннему миру, но и наяву хочется быть неимущим, жить в этом городе последним бомжом с мешком, в котором нет ничего, кроме пары запасных носков и . *Божественной комедии*

С чем нельзя здесь смириться – сон. Брать и ложиться в постель, как обычно? Да вы смейтесь! К тому же в воздухе разлиты антиснотворные, бродильные ферменты, благодаря которым постепенно превращаешься в вечный двигатель, ходибитель, смотрибитель.

Побывав в Венеции, трудно избавиться от мысли о перевоплощении, о каком-то переходе, резком повороте руля. «Лёгкий спуск чрез Аверн», – так и стучит в голове.

Венеция облагораживает даже Хемингуэя! Хоть роман ... переполнен болтовней, а не оторвешься – не от него, а от пейзажей, на фоне которых невольно представляешь действие. Благо всё это ты видел. Книга знаменательна для меня тем, что в ней сквозь обычный стальной голос охотника изредка пробивается и человеческий... *Across the river За рекой, в тени деревьев*

Нехорошо писать об этом городе длинно и последовательно: получается какой-то каталог, нагромождение антикварных образцов в старой лавке. Иначе надо писать... Чтобы читатель увидел: ты жил, опираясь только на острие мгновения – единственное божество, сохранившее свои чары.

Главная победа дня: у меня спросили дорогу! Тыкая пальцем в схему. Крещение-посвящение состоялось. Что до меня самого, то если в Москве карта Венеции – первая моя книга, то здесь мне недосуг ее разворачивать. Куда важнее то, чего в ней никогда не найдешь... У меня борода с сединой и мрачный вид – поэтому ко мне и обратилась француженка-гидша, предводительствующая выводком блаженно улыбающихся говорунов с фотоаппаратами. Нельзя же допустить, что меня приняли за европейца, итальянца!

Но я тоже отдался общему наваждению: обещал себе достигнуть сегодня максимума фотографий, что и исполнил. Теперь видно будет, сколько я обошел в свой день. Глядя на снимки, смогу почувствовать себя непосредственным человеком. Я действовал! Особенно удалась симпатичная церковь Санти-Апостоли: возносящаяся ввысь стройная, тонкая колокольня ярко освещена солнцем и на густом синем фоне смотрится сновидчески; даже и купол церкви (распухший от молитв, как сказал бы Д'Аннунцио), с обеих сторон стиснутый, как челюстями, жилыми пристройками и пешеходами обычно не замечаемый, виден четко, а крест блестит в небе.

На фасаде церкви Санта-Маддалена под впечатляющей надписью на торжественной латыни «Премудрость выстроила себе дом» – летучая звезда с хвостом. А внутри – «Mostra di Presepi»: с десятков расположенных по кругу рождественских «вертепов». Вошел и все сфотографировал. Примерный турист.

Львы, как известно, находятся под особым покровительством в этом городе – как и коты, их меньшие братья. Исключение сделано для несчастного животного, страдающего за всех, у входа в консерваторию – палаццо Пизани: ему безжалостно рвет пасть омерзительный Геракл-Хемингуэй. Пардон...

Часов в девять вечера я почувствовал сильный укол зачарованности, погружения в некую магическую плазму, в которой плавали все идеи, пребывавшие ранее в беспорядке. Но не хотелось формулировать окончательно, слишком это хлопотно. Я еще раз повторил заветные слова: «Sono quarant'anni questa sera» и снова отправился на пьядцу, где не просто в свой день рождения, но который в некотором смысле там. «Золотая голубятня у воды» – неплохо сказано, согро ди Вассо! Если буду жив, хотел бы вернуться сюда через десять лет и опять пройти тем же путем *su e zo per i ponti. побывал провел*

Голуби в конце концов надвинулись на меня со всех сторон и накрыли шумным шатром. Хичкок!.. Но все-таки: встретить сорокалетие на Сан-Марко – не так уж плохо для смертного! Grazie! Grazie a tutti!

Совсем по-загаданному не получилось – я об aqua alta. Но, по крайней мере, я наблюдал прилив: в полночь пьядца тут и там заблестела лужами, а по периметру, особенно у собора, вода стояла недвижно. Что же касается «пира», то и он состоялся: «пир духа» – как в анекдоте. Но можно ли навязывать план этому городу – городу случайностей *par excellence*?

Из всех городов Италии я Венецию? Нет, я езжу сюда (хотя до нее бывал и еще кое-где). Это можно считать параллелью принципу, которого придерживаются местные жители: «Венецианец никогда не посещает других городов Италии», – свидетельствует последний венецианский магараджа Моран. *предпочитаю только*

Почему? Я – однолюб: Аня и Венеция – *i due carissimi cose nel mondo*.

Мой роман с этим городом начался чахоточными московскими ночами («когда мучительно ищет выхода детская душа, оскверненная школой», – написал друг): я внезапно почувствовал, что сам звук «Венеция» мгновенно переносит меня туда – *dahin! dahin!* – в город, в котором еще не бывал. Помните, как об этом говорил тот, кто приехал сюда, когда врачи уже запретили ему покидать свою комнату?.. Вслед за ним и я хотел бы назвать первые свои фантазии так: «Имена стран: имя». Но фантазий почти не было – были выписки: что бы я ни читал, если упоминалась Венеция, я открывал тетрадку. Это образовывало разительный – и тем утешительный – контраст со «страной киммерийской», которую я не могу покинуть. Нет, мне было мало одного имени: «Венеция», чтобы тотчас перенестись в город дождей и остаться в нем навсегда; хотелось все о нем и все им мерить; талисманом носить с собой. Думаю, и прустовская любовь имела подобную подкладку, которую он, по своей исключительной тонкости, не стал проговаривать до конца... *знать*

А в самой Венеции я, тяготея к эксцентричности, полюбил не совсем то, что любят все (те, кто вообще любят), а именно: Торчелло – маленький остров... Да, блуждая и увлекаясь разными путеводными звездами, невольно отмечаешь в памяти такие истории, как основание острова, названного в честь «башенки» (*torrecello*), на которую взошел епископ славного римского города Альтино, когда вел беженцев, спасавшихся от лангобардов, и звезда – как некогда мудрецам с Востока, желавшим поклониться младенцу Христу, – указала ему место, где надо обосноваться.

Когда-то мы были там с Аней и девочками – стоял май в начале! – и нашли подтверждение словам Джеймса (которые я сегодня прочел в ), что на этом блаженном острове для счастья не требуется почти ничего: довольно неба синего над головой и утопающей в зелени старой

церкви. Все были единокорны: если и выбирать себе место для житья – на покое, – то другого не нужно. И Марина, и Лиза ухватились за идею: мотаться по вечерам в Венецию на спектакли или концерты, а ночью возвращаться назад водами лагуны, держа курс по звездам. И Славик чтоб был на веслах... *Italian hours*

Вздор, конечно: кто теперь отправится на Торчелло в лодке? Вапоретто куда надежнее. И настоящей страсти к Венеции у них не было (а тем более к пустынному Торчелло, имя которого я не могу слышать спокойно) – они бредили Римом и Лондоном. А для меня этот остров остается, видимо, архетипом рая... Остров Робинзона Крузо – место тоже недурственное, но чего-то недостает; укрыться от людей там можно, и дел невпроворот, но главного все же нет... На Торчелло «делать» нечего – разве что виноград растить и сети сушить на заборе, зато есть нечто, дающее полное представление о мире и человеке как таковом; поэтому, даже удалившись от всего, что тебя раздражает, ты никоим образом не остаешься в стороне. Великая вещь – остров со святилищем. Пусть никто из нас всерьез и не ходит в церковь, но идея хороша...

Прустовский герой Блок, помнится, поругивал Джона Раскина (именно такое произношение – со звучным открытым «а» – зафиксировала продавщица в «Libreria Emiliana» на виа Гольдони, где я спросил). За что? За некое занудство, которым отдает монomania на взгляд людей здоровых, «разносторонних»?.. Открыв «Раскина», я сделал первый шаг к человеку, для которого посещение Венеции не было посещением еще одного города. Но что я оставлю, уезжая, в номере? Бутылку с письмом? Или всего лишь рваную бумагу и – две-три пустые бутылки из-под вина (как сказано у Монтале)? А также напрасную мечту: сумею ли продолжить и в последующей жизни тот ритм, к которому пристрастился в Венеции в день своего сорокалетия, из меня мог бы получиться если не поэт, то хотя бы «лирик познания»; но я вернусь в Москву, и будет всё, как раньше? *Камни Венеции due o tre bottiglie vuote di Merlo*

К числу моих достижений следует отнести то, что я ни разу не помочился в канал и не угодил в испражнения венецианских собачек, которыми здесь, как камушками мальчика-с-пальчик, испещрены переулки и набережные. И ни разу не почувствовал голода, который заставил бы меня на ходу сжевать сэндвич и заглотнуть банку пива.

Но какой же, товарищ? Жить по-старому? Во всех смыслах? Или же непонятная грусть заставит задуматься?.. Да разве я мало «думаю» об этом? Но итогом становится новый миф, который я творю о себе, подражая чудо-городу, породившему не одного Гоголя – или лучше: Набокова, с его визионерской техникой и нечеловечески точным словом, – дабы он писал его историю, снова и снова пересоздавая старую сказку. И другие не отставали... *вывод*

От условий повседневных жизнь свою освободив,  
Человек здесь стал прекрасен и как солнце горделив.  
Он воздвиг дворцы в лагуне, сделал дожем рыбака,  
И к Венеции безвестной поползли, дрожа, века...

\*\*\*

Закрыв тетрадь, Леонид спросил себя: как ему надлежит действовать? Продолжать в том же духе? Но не значит ли это вливать новое вино в старые мехи? Что-то уже ушло, по видимому, безвозвратно, что-то явилось на смену... В этих записках чувствуется неясное ожидание, и теперь можно попытаться понять, чем оно разрешилось и сменилось, – при условии, что человек вообще способен к пробуждению и перерождению... И последними его словами были: «Спасибо, Господи, за этот удивительный день, в который Ты поддержал меня, укрепил терпением и разумением сердце мое, отягченное суетой. Да будет так».

Ребенком будучи, когда высоко  
Звучал орган в старинной церкви нашей,  
Я слушал и заслушивался. Слезы

Невольные и сладкие текли...

Ich will meine Liebe ergössen  
Sich all in ein einziges Wort.

В минуту жизни трудную  
Теснится ль в сердце грусть:  
Одну молитву чудную  
Твержу я наизусть...

На небе – там, где наибольший свет, —  
Я был и видел то, о чем поведать,  
В наш мир сойдя, ни слов, ни силы нет...

**Десять лет назад**

*Aqua alta  
e m'è quarant'anni questa sera.*

### III

Проснулся он странно рано – в полной темноте. Может быть, отозвалось сидение в холодных церквях: горло пошаливало; или сну мешало внутреннее беспокойство – из полусотни своих рождений Леонид только второе проводил вне дома. Хотя родные, едва он заикнулся о поездке, с радостью его отпустили, даже настояли на ней, когда он усомнился. Но по-прежнему казалось расточительством отдавать драгоценные часы сну – здесь, в городе, который некая традиция считает городом снов... Это не были летние, серебристые ночи, благоухающие гелиотропом и шафраном, когда нет более тяжкого преступления, чем запереться в номере, а глубокие зимние, маслянистые от вернувшегося тумана. Венеции – и прочего мира – не ощущалось. Колокола еще только готовились возвестить утреннее, и отсутствие грубых городских звуков, неизбывного московского лязга создавалось Леонидом как подарок ценителям тишины; а под куполами, чудилось ему, замерли ночные молитвы рыбаков «Звезде морей». Ave

С новой силой вернулись мысли о сыне: письма были начаты, и продуцирующий механизм работал. «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание...» Леонид расслабленно повернулся в постели и вздохнул: на что же опереться в разговоре с ним? На свои ощущения? Смешно. И, с одной стороны, опора очевидна, но... Как ты поймешь известные слова, как распорядишься ими? Понравится ли это Вячеславу? Если он готов тебя услышать, речения придутся к месту, но если нет... Лучше как-то иначе... Беда: не хочешь ты, тебе надо, потому и не решаешься выходить с открытым забралом, говорить: я считаю. Не в том дело, что считаешь ты, а в правде, но для этого следует пить из тех источников, где она обитает. Коль скоро занимается новый день, начнем с сегодняшнего Евангелия. Из всех недугов бессонницу легче других обратить во благо... *как-то как должно*

И что же? Леонида не удивило, что церковь вновь назначила отрывок из четвертой главы от Марка: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать?» Сомнений не осталось: письма ждут... «Должно ли в субботу добро делать, или зло делать? Душу спасти или погубить?» Сегодня ты вправе подумать о себе, о своем отдыхе, но не нужна ли Вячеславу твоя забота именно сегодня? «в субботу»?.. Как тот сотник, веришь, что сын исцелится по одному слову. И в чем будет состоять исцеление? Не в том же, чтобы Вячеслав поступал по-твоему... Почему вы не понимаете друг друга? Для разговора нужен единый язык, и он вами ощущается, но... Это его излюбленное: «Посредников не нужно... Я обращаюсь к Богу напрямую...» Не слишком ли самонадеянно звучит? Зачем же тогда церковь? Или она установлена для стад, мытарей и блудниц, а козлы и прочие оригиналы могут входить без доклада? Но как же нам тогда возделывать общий виноградник? Не объединившись? Хотя почва для самодетельности этим не устраняется: мы тоже ищем обращения напрямую, никто не делает за нас всю работу...

Каков же Он, истинный и долготерпеливый? Узнаем мы это? Почему драгоценное знание не вкладывается в нас при первых же шагах по земле, чтобы мы жили на ней, как задумано? Почему столь трудны наши искания?.. То божество, о котором говорит Вячеслав, с которым у него установлены давние отношения – его не разделишь с другими. Явивший себя в Сыне, Его давший нам для единения, иной... Вячеслав ратует за свободу, не хочет принадлежать к группе. Но остров ли он – в этом мире, разделенном на бесчисленные группировки-архипелаги?.. В «безумном» мире, от которого он якобы отказывается?

«Не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? Откуда же на нем плевелы?» Как часто в голове гремит этот вопрос, после того как Вячеслав сообщил о своем решении... Безумный мир? Но это мир, на который смотрит безумец. Для Шекспира мир – театр, для Казановы – бордель, для Чезаре Борджа – скотобойня. Смысл «отказа» в одном – в отрицании Христа: точно и не было никакого ответа на безумный мир, на жалобы Иова.

«Все высвистано, прособачено» – любит повторять Вячеслав. Но не отрекается же от мира как такового, ищет рай земной, свой – взамен возвещенного. Сюда ты и соваться не смеешь. Но если говорить о Боге Авраама – тогда вы оказываетесь на другой территории. «Отрицающий Сына не имеет и Отца». И ты должен спешить на помощь, поддержать его, как инвалида, у которого перебит хребет. Его доминирующее состояние – страх: сделать что-то не так – «не так, как я хочу». Что с того, что болезнь известна? Он не услышит тебя, надо иначе. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Да, в проповеди твоей – или исповеди – для него не будет ничего, кроме занудства. Пока ты не пострадаешь за нее...

После этого боя, данного на рассвете, Леонид с радостью влился в венецианскую жизнь, которой не было дела до чых-то борений; разрушая стеклянную тишину, она быстро множилась с приходом дня, готовила свою торговлю и расставляла перед входом в остерии маленькие грифельные доски с цифрами: школьный страх перед уроками математики был позади. День просветлел. Куда-то спешила ранняя гондола, ускользя в блестящую мглу канала. По лестнице, помогая себе руками, как лягушка в воде, поднимался карапуз, а громадный мужчина в черном откинулся назад, поставив на живот большую камеру, чтобы зафиксировать причал. На краю крыши четко рисовался проволочный каркас альтана, украшенной разноцветными фонариками.

Казалось бы, чтобы любоваться горизонтом, нужно быть богатым и спокойным, а если ты затравлен, лучше сидеть и медитировать в каморке. Но Леонид находился где-то посередине, и после медитации в комнате с удовольствием любовался горизонтом под звон колоколов. Примерный план на день у него был, но, выйдя из гостиницы, он неожиданно повернул в сторону Сант-Альвизе. Что-то снова потянуло его на тихое кампо в отдаленной части города. Что? Власть языковых ассоциаций? Ибо наследного принца, призванного, по Данте, носить меч, столь же нелепо объявлять святым, как и ставить на колени самолюбивого упрямец?.. Опустим без ответа этот не вполне ясный вопрос, но то, что Людовик попал в , уже освящает его личность, тем более что к служению церкви его принудила воля неразумного отца. *Paradiso*

Леонид вспомнил прочитанный вчера отрывок о Сант-Альвизе, написанный задолго до того, как одноименный московский храм вошел в его жизнь. Совпадение? Или один из тех стуков, что были услышаны позже?.. Так или иначе, но Леониду было спокойно в безлюдном уголке. Красная лавка меж двух глиняных горшков охотно приняла его, и он уже видел родной теперь, московский Сант-Альвизе, отца Игоря, скромную, до изнеможения полюбившуюся обстановку, утра и вечера, проведенные там...

Из объемной монографии Леонид узнал, что эрудиты именно к этому кварталу относят те строки , где Пруст сравнивает неожиданно открывшуюся ему площадь с волшебным дворцом из , куда героя приводят под покровом тьмы, а утром потихоньку возвращают домой, чтобы он не сумел найти чудесную обитель и подумал, что все это ему приснилось; утверждая, что даже если бы он и попытался сам отыскать чудесную площадь, уставленную дворцами, задумчиво застывшими в лунном сиянии, то злой дух-хранитель незаметно привел бы его в ту же точку, из которой он начал свои поиски. Но Леонид пришел сюда кратчайшим путем – и сам – хотя бы для того, чтобы лучше запомнить дорогу и убедиться, что это явь, и злой дух не властен ему помешать. Под углом к храму стояло здание, в котором располагался «Istituto figlie della carità sanossiane»... Конгрегация сестер божественной любви? Очень хорошо. Попроси о милосердии к себе, упорному грешнику, стремящемуся очиститься от скверн глубоких. *Церкви Венеции Беглянки Тысячи и одной ночи*

«Иститутто» напомнил ему легенду об основании Сант-Альвизе... Рождение многих местных церквей – следствие явлений того или иного святого более или менее значимой фигуре. San Magno, епископ одного из тех городов, положение которых уже никто не сможет определить и от которых не осталось ничего, кроме причудливых имен: Альтино, Эраклея, Одерцо... Спасаясь от лангобардов, он покинул материк и повел народ на острова лагуны, добившись,

чтобы туда же переместили и кафедру. Сан-Маньо приписывают основание восьми старейших церквей Венеции. Явившаяся ему во сне Богородица повелела воздвигнуть Санта-Мария Формоза. Св. Петр также посетил своего продолжателя во время сна – и результатом стал Сан-Пьетро ди Кастелло. Архангел Рафаил был вдохновителем сооружения Анзоло-Рафаэле, а Сам Спаситель – храма Сан-Сальвадор. Сан-Джованни ин Брагора и Сан-Дзаккариа обязаны своим возникновением Иоанну Крестителю. Детищем Сан-Маньо были и Санти-Апостоли; на этот раз епископу явились Ученики – с предписанием выстроить в их честь церковь там, где назавтра он увидит семью о двенадцати журавлях... Что касается Сант-Альвизе, то основание этой церкви – событие более позднего времени. Знатной венецианке Антонии Веньер явился святой Людовик Тулузский, обратившийся к нобильдонне с просьбой о возведении храма в его честь. Как пишет хронист: «Inutile stare a chiedersi perché... Не нужно задаваться вопросом: почему епископ-француз почел своим долгом обратиться к венецианке; так или иначе, по желанию Веньер была построена не только церковь, но и прилежащий монастырь, в который она удалась вместе с благочестивыми подругами».

Поэтому, сказал себе Леонид, и мы не спрашиваем: почему был воздвигнут (в год начала «великой» французской революции) храм имени св. Людовика в нашем, еще более далеком и еще менее французском городе? Кто имел видение?.. Не спрашиваем, ибо иначе у нас не было бы этого храма, и ты остался сиротой навсегда.

Из Венеции, с расстояния в две тысячи верст гордая Москва сокращалась для него до размеров крошечного квадрата с высокой елью, который представлял ее и говорил о ней нечто утешительное. «Наш храм!» – теперь и Леонид имел право на это восклицание. Как он любил его, как ясно видел: приземистый, с неколебимой независимостью утвержденный между многоэтажными уродами, хоть и претендовавшими на его территорию, но остановленными властной десницей. Колонны, классически-строгий фасад несли на себе печать непреклонного духа прихожан и священников, боровшихся за храм в глухую эпоху. Обретенный столь поздно, он казался Леониду каким-то другим миром, оазисом, камнем среди хлябей... Постепенно он убедился, что это сама церковь – другой мир; и сколь бы часто ни приходил он сюда, ощущение таинства не убывало.

Возможно, любителей пышных зрелищ разочарует скромная обстановка. Но что есть храм, друзья и учителя? Место, где нас собирает то, что выше нас. И разве должна речь, хотя бы и священника, звучать непременно гладко и громко? Не задуматься ли ему подчас над чем-то? Он же не выучивает свою роль, как актер, не изображает кого-то, перевоплощаясь, – он ведет нас. И, сознавая, чей это дом, начинаешь и в мир выходить иначе, понимая, Здесь св. Франциск Сальский учит нас стяжанию блаженной жизни, св. Бернар Клервоский – смирению, св. Антоний милует нас, кем бы мы ни были, св. Людовик благословляет, Богоматерь исцеляет от недугов. А Преображение, писанное по голубому полю в конхе апсиды, сразу приковывает внимание впервые входящего своим высоким смыслом: «Неужели и мне суждено преобразиться и войти в этот храм?» И потом уже, на всех службах, окуная взор в лазурь полукупола, в которой парит Христос, представляешь, что такими и должны быть врата в Царство Небесное. Тесные врата. *где находишься...*

А в ряду видений (роль которых в Венеции особенно велика: кто решился бы строить на песке мало что дом – храм из мрамора и золота – без сильного покровительства?), предшествовавших воздвижению того или иного святилища, нельзя миновать и видения дожу Якопо Тьеполо, подарившего ордену доминиканцев клочок топкой земли – истинное – где возникла церковь Сан-Дзаниполо. По легенде, внутреннему взору дожа явилась часовня, вокруг которой волновалось море цветов; над ним взлетали голуби с золотыми крестами на головках, а два ангела святили воздух из золотых кадилниц. Тогда с высоты раздался голос: «Questo è il luogo, che ho scelto per i miei predicatori». И надгробие Тьеполо на фасаде церкви до сего дня хранит изображение ангелов с кадиллом и птиц, увенчанных святым символом. *campo,*

От предыдущих поездок у Леонида осталось множество печатных свидетельств о городе, и среди них – внушительная брошюра большого формата (на ломаном русском) «Базилика свв. Иоанна и Павла. ». Курсив мой, сказал Леонид... Наверное, ясно, почему ты о ней вспомнил. Ни слова о том, чему храм обязан своим возникновением. Об этом говорить не принято. И в проспекте Chorus'a церкви Венеции названы «più straordinario museo». Но разве это холодные экспонаты или выброшенные на берег резные раковины, лишённые наполнявшей их некогда жизни, бессильные донести до приникшего к ним уха шум былого? Они живут. Кто-то в этом сомневается? Не для сомневающихся ли и предпринял Леонид свое паломничество?..  
Церковь ... *История и искусство*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.